

U $\frac{7}{300}$

12/5-87 lwp bee 30

21/3-88 cfp bee 15

28/1-88 emp bee 15

28/1-88 emp bee 20

1/6-89 cfp bee 15

20.10.89. emp bee (!) 4

2/6 on line 2

7.
300

801-86
9487-9

Левъ Шестовъ

НАЧАЛА И КОНЦЫ

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ

Творчество изъ ничего (А. П. Чеховъ). — Пророческій даръ. — Похвала Глупости. — Предпослѣднія слова

(Бердяевъ)

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28

1908

Того же автора:

1. Шекспиръ и его критикъ Брандесъ. Ц. 1 р. 50 к.
2. Добро въ ученіи гр. Толстого и Нитше (*Философія и проповѣдь*). Изд. 2-е, М. В. Пирожкова. Ц. 1 р.
3. Достоевскій и Нитше (*Философія трагедіи*). Ц. 1 р. 50 коп.
4. Апоеозъ безпочвенности (*Опытъ адогматическаго мышленія*). Ц. 1 р. 50 к.

Левъ Шестовъ

НАЧАЛА И КОНЦЫ

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ

Творчество изъ ничего (А. П. Чеховъ). — Пророческій
даръ. — Похвала Глупости. — Предпоследнія слова

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. остр., 5 лин., 28

1908

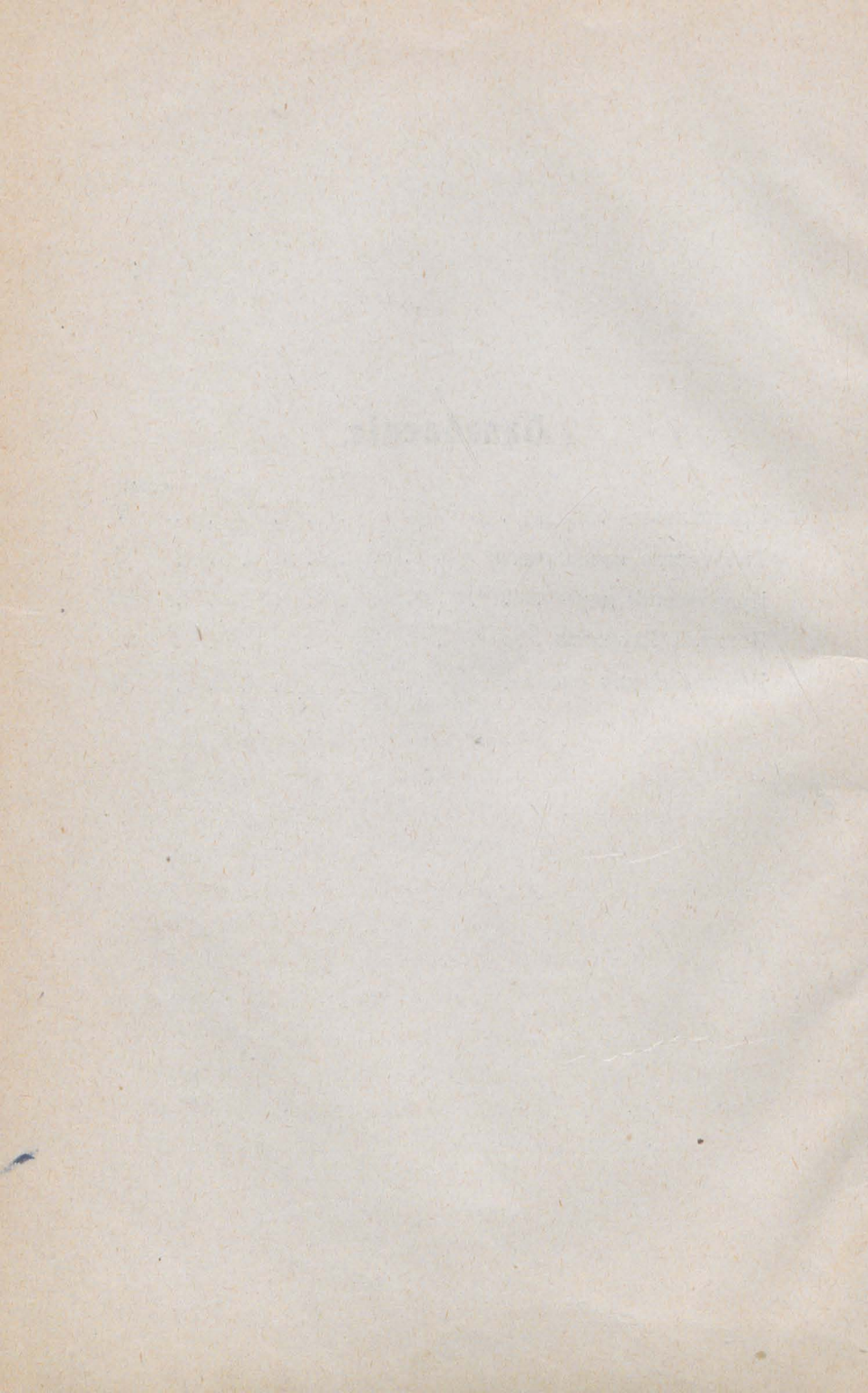




3799

Оглавленіе.

	СТРАН.
Предисловіе	V*
Творчество изъ ничего	1
Пророческій даръ	69
Похвала Глупости	92
Предпослѣднія слова	124



КНИГА ИМЕЕТ

Листов печатных	Обще колич. вып.	В переплет- ной ед. соедин. номера вып.	Таблиц	Карт	Иллюстра- ций	Служебн. номер	Номера описка и порядковый	197 г.
14						C	B2	2



Предисловіе.

Какъ это ни покажется на первый взглядъ страннымъ, но несомнѣнно, что самой характерной для человѣка чертой является боязнь правды. Всегда — съ тѣхъ поръ, какъ человѣчество научилось думать — къ правдѣ относились подозрительно, одни — скрыто, другіе — открыто. И обыкновенно тѣ, которые на словахъ являлись наиболѣе горячими поборниками истины, на дѣлѣ болѣе всего боялись ея. Пожалуй, не будетъ даже преувеличеніемъ сказать, что только тѣ, которые бранили истину, хотъ до нѣкоторой степени рѣшались приближаться къ ней. Но въ общемъ, повторяю, среди людей уже съ древнихъ временъ укоренилась прочная вѣра, что истина страшна и что ея нужно всячески избѣгать. Ее сравнивали съ головою Медузы, окруженной змѣями, и говорили, что всякій, взглянувшій на нее, обращается въ камень. Или съ солнцемъ —

постоянно глядѣть на которое значитъ рисковать потерять зрѣніе. Этимъ, вѣроятно, объясняется сложившееся уже давно и тоже непонятное, даже загадочное мнѣніе, что люди добровольно не ищутъ истины и что только подчиняясь необходимости или непреодолимому категорическому императиву они перестаютъ себя обманывать и рѣшаются прямо взглянуть въ лицо правдѣ. «Ты не долженъ лгать», ежеминутно повторяетъ себѣ ученый изслѣдователь и тѣмъ не менѣе не можетъ побѣдить въ себѣ инстинктивнаго страха и лжетъ, лжетъ, лжетъ. Не изъ соображеній мелкой личной выгоды въ родѣ того, что *primum vivere deinde philosophari* — такого рода случаи насъ здѣсь совсѣмъ не занимаютъ. Ученый изслѣдователь лжетъ, руководясь высшими соображеніями, подчиняясь велѣніямъ своей совѣсти. Ему кажется, что если онъ начнетъ говорить правду, если правда станетъ извѣстной людямъ, то жизнь на землѣ станетъ совершенно невозможной. Такое сужденіе вы услышите отъ представителей самыхъ различныхъ міровоззрѣній, отъ людей, которые не смогутъ сговориться ни по одному другому вопросу.

Съ одной стороны, Нитше и Оскаръ Уайльдъ прославляли ложь, съ другой стороны, всѣ представители возникшихъ послѣ Канта безчисленныхъ теорій познанія предлагаютъ вмѣсто истины

разнаго рода суррогаты ея въ видѣ общеобязательныхъ сужденій, т.-е. ту же ложь. Оскаръ Уайльдъ и Нитше, съ одной стороны, современные неокантіанцы (а вмѣстѣ съ ними и всѣ ихъ противники вплоть до позитивистовъ и матеріалистовъ) съ другой, въ той или иной формѣ, скрыто или открыто, проповѣдуютъ ложь, безъ которой, по ихъ мнѣнію, жизнь невозможна. Если мы присмотримся внимательнѣе къ современнымъ религіознымъ людямъ, мы убѣдимся, что и они большей частью боятся истины и избѣгаютъ ея и потому вѣрятъ. Оттого обыкновенно и выходитъ, что люди вѣрятъ въ то, чему ихъ съ дѣтства учили, съ чѣмъ они болѣе или менѣе свыклись. Родившійся въ католичество, если онъ будетъ вѣрить, то непременно въ единую святую католическую церковь, родившійся въ протестантствѣ признаетъ только христіанство лютерова истолкованія, магометанинъ по рожденію будетъ крѣпко держаться Аллаха и Магомета. Случаи искренняго обращенія бываютъ только среди дикарей. Образованные же люди знаютъ, что безъ вѣры страшно и потому ищутъ вѣры *quand-même*, болѣе озабоченные необходимостью увѣровать, чѣмъ желаніемъ найти религіозную истину. Естественно является вопросъ: да точно ли это убѣжденіе человѣка правильно? Точно ли правда на самомъ дѣлѣ такъ страшна

и вредна? Широкое распространение этого мнѣнія никоимъ образомъ не можетъ служить само по себѣ доказательствомъ его истинности. Какіе только предразсудки не получали широкаго распространения!..

Я отнюдь, однако, не хочу оспаривать пользы и практическаго значенія лжи. Уайльдъ, Нитше и нѣмецкіе гносеологи по-своему правы: ложь полезна, даже очень полезна. Но я рѣшительно не вижу необходимости ставить дилемму: либо ложь, либо истина. Пусть ложь процвѣтаетъ и пусть даже гносеологи воспѣваютъ ее, какъ единую возможную, какъ самую лучшую и высокую истину — развѣ это можетъ служить возраженіемъ противъ настоящей истины?! Людямъ кажется, что если выпустить истину, она тотчасъ же сожретъ ложь, подобно тому какъ нѣкогда тощія библейскія коровы сожрали толстыхъ. И вотъ я считаю своей пріятной обязанностью заявить здѣсь, что эти опасенія очень преувеличены и ровно ни на чемъ не основаны. Несмотря на то, что истины постоянно бродятъ по свѣту, толстая ложь по-прежнему продолжаетъ процвѣтать, благоденствовать и приносить всѣ тѣ «пользы», которыхъ люди отъ нея такъ жадно требуютъ. Истина рѣшительно не имѣетъ тѣхъ силъ, которыя нужны, чтобъ истребить ложь. Можетъ быть, истина вовсе съ ложью и

не враждуетъ, можетъ быть, она сама и породила ее на свѣтъ? Послѣднее предположеніе далеко не такъ невѣроятно, какъ это можетъ показаться съ перваго раза...

Впрочемъ—не въ этомъ суть. Главное, идеалистамъ не о чемъ беспокоиться: ихъ прочный союзъ съ ложью обезпечиваетъ обѣимъ договорившимся сторонамъ всевозможныя выгоды и на очень долгое время, *in saecula saeculorum*. А потому нѣтъ большой бѣды, если иной разъ и истина рѣшится выглянуть на свѣтъ божій. Она, правда, не сулитъ непосредственныхъ выгодъ. Но могу сообщить, что искатели истины далеко не такъ наивны и безкорыстны, какъ думаютъ въ своей близорукости идеалисты, и что въ своихъ стремленіяхъ они отнюдь не руководятся однѣми «чистыми» идеями. Если они и подставляютъ свои головы подъ удары—вспомнимъ хотя бы о Чеховѣ, чтобъ взять въ примѣръ писателя, о которомъ говорится въ настоящемъ сборникѣ—то, право, не изъ преданности и благоговѣнія къ дубинѣ. Мнѣ уже однажды пришлось указать, что разбитая голова часто является первой страницей исторіи развитія генія. Мнѣ, конечно, не повѣрили—особенно идеалисты, которые твердо знаютъ (идеалисты вообще очень многое очень твердо знаютъ), что разбитая голова есть разбитая голова и только. Я бы могъ

сослаться въ подтвержденіе моего мнѣнія на трудъ извѣстнаго психолога Джемса: *The varieties of religious experience*, но въ предисловіи нужно быть краткимъ. Кто хочетъ, пусть самъ прочтетъ эту во многихъ отношеніяхъ прямо-таки замѣчательную книгу. Джемсъ американецъ, человѣкъ практическій и очень довѣряющій здравому смыслу. И тѣмъ не менѣе чуть ли не вся книга посвящена похвалѣ глупости. Когда невѣжественный и не умный человѣкъ вступаетъ въ союзъ съ глупостью, въ этомъ мало интереснаго. Но когда очень умный и ученый человѣкъ открыто ищетъ правды у глупости, даже у безумія — такое зрѣлище уже заслуживаетъ вниманія и даже особаго вниманія.

Пора кончать. Скажу только еще два слова по поводу заглавія сборника. «Начала и концы», иными словами все, только не середина. Середина не нужна не потому, что она сама по себѣ ни на что не годится. Въ мірѣ вообще всякая вещь на что-нибудь да годится. Но середина обманываетъ, ибо у нея есть собственные начала и собственные концы, и она кажется похожей на все. А въ этомъ званіи, которое она охотно на себя принимаетъ и о которомъ для нея такъ упорно хлопчутъ всякаго рода благочестивые люди, изъ числа тѣхъ, о которыхъ шла рѣчь выше — она уже не можетъ притязать на при-

знаніе. Всякаго рода самозванство вызываетъ протестъ и озлобленіе даже и тогда, когда ему, какъ въ данномъ случаѣ, присущъ элементъ комическаго. Середина не есть все, не есть даже большая часть всего: сколько бы теорій познанія ни написали нѣмцы—мы имъ не повѣримъ. Мы будемъ идти къ началамъ, будемъ идти къ концамъ — хотя почти навѣрное знаемъ, что не дойдемъ ни до начала, ни до конца. И будемъ утверждать, что истина, въ послѣднемъ счетѣ, можетъ быть нужнѣе самой лучшей лжи—хотя, конечно мы не знаемъ и, вѣрно, никогда послѣдней истины не узнаемъ. Уже и то хорошо, что всѣ, выдуманные людьми суррогаты истины—не истина!..

Есть многое на небѣ и землѣ, что и не снилось учености даже ученѣйшихъ...

Л. Ш.

Saanen (Швейцарія)
8/21 августа 1908 г.

Творчество изъ хичего.

(А. П. Чеховъ).

Résigne-toi, mon coeur, dors ton
sommeil de brute.

Ch. Baudelaire.

I.

Чеховъ умеръ — теперь можно о немъ свободно говорить. Ибо говорить о художникѣ — значитъ выявлять, обнаруживать скрывавшуюся въ его произведеніяхъ «тенденцію», а продѣлывать такую операцію надъ живымъ человѣкомъ далеко не всегда позволительно. Вѣдь была же какая-нибудь причина, заставлявшая его таиться и, разумѣется, причина серьезная, важная. Мнѣ кажется, многіе это чувствовали, и отчасти потому у насъ до сихъ поръ нѣтъ настоящей оцѣнки Чехова. Разбирая его произведенія, критики до сихъ поръ ограничивались общими мѣстами и избитыми фразами. Знали, конечно,

что это дурно: но все лучше, чѣмъ испытывать правду у живого человѣка. Одинъ Н. К. Михайловскій попробовалъ ближе подойти къ источнику творчества Чехова, и, какъ извѣстно, съ испугомъ, даже съ отвращеніемъ отшатнулся отъ него. Тутъ, между прочимъ, покойный критикъ могъ лишній разъ убѣдиться въ фантастичности такъ называемой теоріи искусства ради искусства. У каждаго художника есть своя опредѣленная задача, свое жизненное дѣло, которому онъ отдаетъ всѣ силы. Тенденція смѣшна, когда она рассчитываетъ замѣнить собою дарованіе, прикрыть беспомощность и отсутствіе содержанія, когда она заимствуется на вѣру изъ запаса ходкихъ въ данную минуту идей. «Я защищаю идеалы—стало быть всѣ должны мнѣ сочувствовать» — въ литературѣ такого рода претензіи высказываются сплошь и рядомъ—и знаменитый споръ о свободномъ искусствѣ, повидимому, держался только на двоякомъ смыслѣ употреблявшагося противниками слова «тенденція». Одни хотѣли думать, что благородство направленія спасаетъ писателя, другіе боялись, что тенденція закабалитъ ихъ на службу чуждымъ имъ задачамъ. Очевидно, обѣ стороны напрасно волновались: никогда готовыя идеи не прибавятъ дарованія посредственности, и, наоборотъ, оригинальный писатель во что бы то ни стало

поставить себѣ собственную задачу. У Чехова было свое дѣло, хотя нѣкоторые критики и говорили о томъ, что онъ былъ служителемъ чистаго искусства и даже сравнивали его съ беззаботно порхающей птичкой. Чтобы въ двухъ словахъ опредѣлить его тенденцію, я скажу: Чеховъ былъ пѣвцомъ безнадёжности. Упорно, уныло, однообразно въ теченіе всей своей почти 25-лѣтней литературной дѣятельности Чеховъ только одно и дѣлалъ: тѣми или иными способами убивалъ человѣческія надежды. Въ этомъ, на мой взглядъ, сущность его творчества. Объ этомъ до сихъ поръ мало говорили — и по причинамъ, вполне понятнымъ: вѣдь то, что дѣлалъ Чеховъ, на обыкновенномъ языкѣ называется преступленіемъ и подлежитъ суровѣйшей карѣ. Но, какъ казнить талантливаго человѣка? Даже у Михайловскаго, показавшаго на своемъ вѣку не одинъ примѣръ безпощадной суровости, не поднялась рука на Чехова. Онъ предостерегалъ читателей, указывалъ на «недобрые огоньки», подмѣченные имъ въ глазахъ Чехова. Но дальше этого онъ не шелъ: огромный талантъ Чехова подкупилъ ригористически строгаго критика. Можетъ быть, впрочемъ, не послѣднюю роль въ относительной мягкости приговора Михайловскаго сыграло и его собственное положеніе въ литературѣ. Тридцать лѣтъ подъ рядъ молодое

поколѣніе слушало его, и слово его было закономъ. Но потомъ всѣмъ надоѣло вѣчно повторять: Аристидъ справедливъ, Аристидъ правъ. Молодое поколѣніе захотѣло жить и говорить по-своему, и, въ концѣ концовъ, стараго учителя подвергли остракизму. Въ литературѣ существуетъ тотъ же обычай, что и у жителей Огненной Земли: молодые, подростая, убиваютъ и съѣдаютъ стариковъ. Михайловскій отбивался, сколько могъ, но онъ уже не чувствовалъ той твердости убѣжденія, которая вырастаетъ изъ сознанія своего права. Внутренно онъ какъ будто чувствовалъ, что правы молодые—не тѣмъ, конечно, что они знаютъ истину: какую истину знали экономическіе матеріалисты! а тѣмъ, что они молоды, что у нихъ жизнь впереди. Восходящее свѣтило всегда свѣтитъ ярче заходящаго, и старики должны добровольно отдавать себя на съѣденіе молодымъ. Михайловскій, повторяю, это чувствовалъ, и это, быть можетъ, отнимало у него прежнюю увѣренность и твердость въ сужденіяхъ. Онъ, правда, попрежнему, какъ мать Гетевской Гретхенъ, не принималъ попадавшихъ ему случайно богатыхъ даровъ, не посовѣтовавшись предварительно со своимъ духовникомъ. Даръ Чехова онъ тоже носилъ къ пастору и, очевидно, онъ тамъ былъ заподозрѣнъ и отвергнутъ—но идти противъ общаго мнѣнія у

Михайловскаго уже не было смѣлости. Молодое поколѣніе цѣнило въ Чеховѣ талантъ, огромный талантъ, и ясно было, что оно отъ него не отречется. Что оставалось Михайловскому? Онъ пробовалъ, говорю, предостерегать. Но его никто не слушалъ, и Чеховъ сталъ однимъ изъ любимѣйшихъ русскихъ писателей.

А межъ тѣмъ справедливый Аристидъ и на этотъ разъ былъ правъ, какъ онъ былъ правъ, когда предостерегалъ противъ Достоевскаго: теперь Чехова нѣтъ, объ этомъ уже можно говорить. Возьмите рассказы Чехова — каждый порознь или, еще лучше, всѣ вмѣстѣ: посмотрите его за работой. Онъ постоянно точно въ за-садѣ сидитъ, высматривая и подстерегая чело-вѣческія надежды. И будьте спокойны за него: ни одной изъ нихъ онъ не просмотритъ, ни одна изъ нихъ не избѣжитъ своей участи. Искусство, наука, любовь, вдохновеніе, идеалы, будущее—переберите всѣ слова, которыми современное и прошлое чело-вѣчество утѣшало или развлекало себя—стоитъ Чехову къ нимъ прикоснуться, и они мгновенно блекнутъ, вянутъ и умираютъ. И самъ Чеховъ на нашихъ глазахъ блекнулъ, вянулъ и умиралъ — не умирало въ немъ только его удивительное искусство однимъ прикосновеніемъ, даже дыханіемъ, взглядомъ убивать все, чѣмъ живутъ и гордятся люди.

Болѣе того, въ этомъ искусствѣ онъ постоянно совершенствовался и дошелъ до виртуозности, до которой не доходилъ никто изъ его соперниковъ въ европейской литературѣ. Я безъ колебанія ставлю его далеко впереди Мопассана. Мопассану часто приходилось дѣлать напряженія, чтобъ справиться со своей жертвой. Отъ Мопассана сплошь и рядомъ жертва уходила хоть помятой и изломанной, но живой. Въ рукахъ Чехова все умирало.

II.

Нужно напомнить, хотя всѣ это знаютъ, что въ первыхъ своихъ произведеніяхъ Чеховъ менѣе всего похожъ на того Чехова, къ которому мы привыкли въ послѣдніе годы. Молодой Чеховъ веселъ, беззаботенъ, и, пожалуй, даже похожъ на порхающую птичку. Свой работы онъ печатаетъ въ юмористическихъ журналахъ. Но уже въ 1888 — 1889 годахъ, когда ему было всего 27, 28 лѣтъ, появились двѣ его вещи: рассказъ «Скучная Исторія» и драма «Ивановъ», которыми положено начало новому творчеству. Очевидно, въ немъ произошелъ внезапный и рѣзкій переломъ, цѣликомъ отразившійся и въ его произведеніяхъ. обстоятельной біографіи Чехова мы еще не имѣемъ, да вѣроятно и имѣть не будемъ,

по той причинѣ, что обстоятельныхъ біографій не бываетъ — я, по крайней мѣрѣ, не могу назвать ни одной. Обыкновенно, въ жизнеописаніяхъ намъ рассказываютъ все, кромѣ того, что важно было бы узнать. Можетъ быть, когда-нибудь выяснится съ мельчайшими подробностями, у какого портного шилъ себѣ платье Чеховъ, но навѣрное мы никогда не узнаемъ, что произошло съ Чеховымъ за то время, которое протекло между окончаніемъ его рассказа «Степь» и появленіемъ первой драмы. Если хотимъ знать, нужно положиться на его произведенія и собственную догадливость.

«Ивановъ» и «Скучная Исторія» представляются мнѣ вещами, носящими наиболѣе автобіографическій характеръ. Въ нихъ почти каждая строчка рыдаетъ—и трудно предположить, чтобы такъ рыдать могъ человѣкъ, только глядя на чужое горе. И видно, что горе новое, неожиданное, точно съ неба свалившееся. Оно есть, оно всегда будетъ, а что съ нимъ дѣлать—неизвѣстно.

Въ «Ивановѣ» главный герой сравниваетъ себя съ надорвавшимся рабочимъ. Я думаю, что мы не ошибемся, если приложимъ это сравненіе и къ автору драмы. Чеховъ надорвался, въ этомъ почти не можетъ быть сомнѣнія. И надорвался не отъ тяжелой, большой работы, не великій непосильный подвигъ сломилъ его, а такъ, пу-

стой, незначительный случай: упалъ, споткнувшись, поскользнулся. И вотъ безсмысленный, глупый, невидный почти случай, и нѣтъ прежняго Чехова, веселаго и радостнаго, нѣтъ смѣшныхъ разсказовъ для «Будильника», а есть угрюмый, хмурый человѣкъ, «преступникъ», пугающій своими словами даже опытныхъ и бывалыхъ людей.

При желаніи легко отдѣлаться и отъ Чехова и отъ его творчества. Въ нашемъ языкѣ есть два волшебныхъ слова: «патологическій» и его собратъ «ненормальный». Разъ Чеховъ надорвался, мы имѣемъ совершенно законное, освященное наукой и всѣми традиціями право не считаться съ нимъ, въ особенности, если онъ уже умеръ и, стало быть, не можетъ быть обиженнымъ нашимъ пренебреженіемъ. Это при желаніи отдѣлаться отъ Чехова. Но если такого желанія почему-либо нѣтъ, слова «ненормальный» и «патологическій» на васъ не произведутъ никакого дѣйствія. Можетъ быть, вы пойдете дальше и попытаетесь найти въ Чеховскихъ переживаніяхъ критеріумъ наиболѣе незыблемыхъ истинъ и предпосылокъ нашего познанія. Третьяго выхода нѣтъ: нужно, либо отвергнуть Чехова, либо стать его соучастникомъ.

Въ «Скучной Исторіи» герой — старый профессоръ; въ «Ивановѣ» — герой молодой помѣ-

щикъ. И, однако, тема въ обоихъ произведеніяхъ одна и та же. Профессоръ надорвался и этимъ отрѣзалъ себя и отъ своей прошлой жизни, и отъ возможности принимать дѣятельное участіе въ человѣческихъ интересахъ; Ивановъ тоже надорвался и сталъ лишнимъ, ненужнымъ человекомъ. Если бы жизнь была такъ устроена, что одновременно съ утратой здоровья, силъ и способностей наступала и смерть, старый профессоръ и молодой Ивановъ не могли бы существовать и часу. Для слѣпого ясно: оба они разбиты и для жизни не годятся. Но по непонятнымъ для насъ причинамъ мудрая природа не озаботилась о такого рода совпаденіи: сплошь и рядомъ человекъ продолжаетъ жить послѣ того, когда онъ совершенно утратилъ способность брать отъ жизни то, въ чемъ мы привыкли видѣть ея сущность и смыслъ. И еще поразительнѣе: у разбитаго человека обыкновенно отнимается все, кромѣ способности сознавать и чувствовать свое положеніе. Если угодно—мыслительныя способности въ такихъ случаяхъ большей частью утончаются, обостряются, вырастаютъ до колоссальныхъ размѣровъ. Нерѣдко средній посредственный, банальный человекъ, попавъ въ исключительное положеніе Иванова или стараго профессора, измѣняется до неузнаваемости. Въ немъ появляются признаки дарованія, таланта,

даже геніальности. Ницше поставилъ когда-то такой вопросъ: можетъ ли осель быть трагическимъ? Онъ оставилъ его безъ отвѣта, но за него отвѣтилъ гр. Толстой въ «Смерти Ивана Ильича». Иванъ Ильичъ, какъ видно изъ сдѣланнаго Толстымъ описанія его жизни, посредственная, обыкновенная натура, одна изъ тѣхъ, которыя проходятъ свой путь, избѣгая всего труднаго и проблематическаго, озабоченныя исключительно спокойствіемъ и пріятностью земного существованія. И вотъ чуть только пахнуло на него холодомъ трагедіи—онъ весь преобразился. Иванъ Ильичъ и его послѣдніе дни захватываютъ насъ не меньше, чѣмъ исторія Сократа или Паскаля.

Замѣчу кстати—и это я считаю чрезвычайно важнымъ — что въ творествѣ своемъ Чеховъ находился подъ вліяніемъ Толстого и въ особенности подъ вліяніемъ его послѣднихъ произведеній. Это важно въ виду того, что такимъ образомъ часть «вины» Чехова падаетъ на великаго писателя земли русской. Мнѣ представляется, что если бы не было «Смерти Ивана Ильича»—не было бы ни «Скучной исторіи», ни «Иванова», ни многихъ другихъ замѣчательныхъ произведеній Чехова. Это менѣе всего, однако, значитъ, что Чеховъ заимствовалъ хоть одно слово у своего великаго предшественника. У Че-

хова было достаточно собственного матеріала, и въ этомъ смыслѣ онъ въ помощи не нуждался. Но едва ли молодой писатель рѣшился бы предстать за свой собственный страхъ предъ людьми съ тѣми мыслями, которыя составляютъ содержаніе «Скучной исторіи». Толстой, когда писалъ «Смерть Ивана Ильича», имѣлъ за собой «Войну и Миръ», «Анну Каренину» и прочно установившуюся репутацію первокласснаго художника. Ему все было позволено. Чеховъ же былъ молодымъ человѣкомъ, весь литературный багажъ котораго сводился къ нѣсколькимъ десяткамъ мелкихъ разсказовъ, пріютившихся на страницахъ мало извѣстныхъ и не пользовавшихся вліяніемъ періодическихъ изданій. Если бы Толстой не проложилъ пути, если бы Толстой своимъ примѣромъ не показалъ, что въ литературѣ разрѣшается говорить правду, говорить что угодно, Чехову пришлось бы, можетъ быть, долго бороться съ собой, прежде чѣмъ онъ рѣшился бы на публичную исповѣдь, хотя бы въ формѣ разсказовъ. Да и послѣ Толстого какую ужасную борьбу пришлось выдержать Чехову съ общественнымъ мнѣніемъ! «Зачѣмъ онъ пишетъ свои ужасные разказы и драмы?»—спрашивали себя всѣ.—«Зачѣмъ писатель систематически подбираетъ для своихъ героевъ такія положенія, изъ которыхъ нѣтъ и абсолютно не можетъ быть

никакого выхода? Что можно сказать старому профессору и его воспитанницѣ, Катѣ, въ отвѣтъ на ихъ нескончаемыя жалобы?» То-есть, въ сущности есть что сказать: въ литературѣ съ давнихъ временъ заготовленъ большой и разнообразный запасъ всякаго рода общихъ идей и міровоззрѣній, метафизическихъ и позитивныхъ, о которыхъ учителя вспоминаютъ каждый разъ, какъ только начинаютъ раздаваться слишкомъ требовательные и неспокойные человѣческіе голоса. Но въ томъ-то и дѣло, что Чеховъ, будучи самъ писателемъ и образованнымъ человекомъ, заранѣе, впередъ отвергъ всевозможныя утѣшенія, метафизическія и позитивныя. Даже у Толстого, тоже не слишкомъ цѣнившаго философскія системы, вы не встрѣчаете такого рѣзко выраженаго отвращенія ко всякаго рода міровоззрѣніямъ и идеямъ, какъ у Чехова. Онъ хорошо знаетъ, что міровоззрѣнія полагаются чтить и уважать, свою неспособность преклоняться предъ тѣмъ, что считается образованными людьми святыней, онъ считаетъ своимъ недостаткомъ, съ которымъ нужно всѣми силами бороться. Онъ даже и борется съ нимъ всѣми силами, но безуспѣшно. Борьба не только ни къ чему не приводитъ, но, наоборотъ, чѣмъ дольше живетъ Чеховъ, тѣмъ больше ослабѣваетъ надъ нимъ власть высокихъ словъ—вопреки собствен-

ному разуму и сознательной волѣ. Подъ конецъ онъ совершенно эмансипируется отъ всякаго рода идей и даже теряетъ представленіе о связи жизненныхъ событій. Въ этомъ самая значительная и оригинальная черта его творчества. Забѣгая нѣсколько впередъ, я уже здѣсь укажу на его комедію «Чайку», въ которой, наперекоръ всѣмъ литературнымъ принципамъ, основой дѣйствія является не логическое развитіе страстей, не неизбѣжная связь между предыдущимъ и послѣдующимъ, а голый, демонстративно ничѣмъ не прикрытый случай. Читая драму, иной разъ кажется, что предъ тобой номеръ газеты съ безконечнымъ рядомъ faits divers, нагроможденныхъ другъ на друга безъ всякаго порядка и заранѣе обдуманнаго плана. Во всемъ и вездѣ царитъ самодержавный случай, на этотъ разъ дерзко бросающій вызовъ всѣмъ міровоззрѣніямъ. Въ этомъ, говорю, наибольшая оригинальность Чехова и—странно подумать—источникъ его мучительнѣйшихъ переживаній. Онъ не хотѣлъ оригинальности, онъ дѣлалъ нечеловѣческія напряженія, чтобы быть, какъ всѣ—но отъ судьбы не уйдешь! Сколько людей, особенно среди писателей, изъ кожи лѣзутъ, чтобъ быть не похожими на другихъ и все-таки не могутъ освободиться отъ шаблона—а вотъ Чеховъ противъ воли сталъ своеобразнымъ! Очевидно, что

условіемъ своеобразности является не готовность во что бы то ни стало высказывать непринятія сужденія. Самая новая и смѣлая мысль можетъ оказаться и часто оказывается пошлой и скучной. Чтобы стать оригинальнымъ, нужно не выдумать мысль, а совершить дѣло, трудное и болѣзненное. И такъ какъ люди бѣгутъ труда и страданій, то обыкновенно дѣйствительно новое рождается въ человѣкѣ противъ его воли. ✓

III.

«Съ совершившимся фактомъ мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а середины нѣтъ». «Дѣйствовать» при такихъ условіяхъ невозможно, стало быть, остается «упасть на полъ, кричать и биться головой объ полъ» *). Такъ говорить Чеховъ объ одномъ изъ своихъ героевъ, но могъ бы сказать обо всѣхъ безъ исключенія. Заботами автора они поставлены въ такое положеніе, что имъ остается только одно: упасть на полъ и колотиться головой о стѣну. Со страннымъ загадочнымъ упорствомъ они отвергають всѣ принятые способы спасенія. Николай Степановичъ, старый профессоръ («Скучная исторія»)

*) Т. VI, стр. 196.

могъ бы попытаться забыться или утѣшиться воспоминаніями изъ своего прошлаго. Но воспоминанія только раздражаютъ его. Онъ былъ выдающимся ученымъ—теперь работа валится изъ его рукъ. Онъ умѣлъ два часа подрядъ на лекціи удерживать вниманіе аудиторіи, теперь его не хватаетъ и на четверть часа. У него были друзья и товарищи, онъ любилъ своихъ учениковъ и помощниковъ, свою жену, своихъ дѣтей, теперь ему ровно ни до кого нѣтъ дѣла. Если люди и возбуждаютъ въ немъ какія-либо чувства, то развѣ только ненависть, злобу и зависть. Онъ долженъ признаться себѣ въ этомъ съ той правдивостью, которая неизвѣстно почему, зачѣмъ и откуда пришла къ нему на смѣну прежняго, свойственнаго всѣмъ умнымъ и нормальнымъ людямъ дипломатическаго искусства видѣть и говорить лишь то, что способствуетъ добрымъ человѣческимъ отношеніямъ и здоровымъ внутреннимъ настроеніямъ. Все, о чемъ онъ теперь думаетъ, все, что онъ видитъ—только отравляетъ ему и другимъ тѣ небольшія радости, которыми красится человѣческая жизнь. Онъ чувствуетъ съ ясностью, которой не достигалъ никогда въ лучшіе дни и часы своихъ прежнихъ теоретическихъ изысканій, что онъ сталъ преступникомъ — ничего не преступивъ. Все, что онъ прежде дѣлалъ, было хорошо, нужно, полезно.

Онъ рассказываетъ о своемъ прошломъ, и вы видите, что онъ всегда былъ правъ и могъ бы разрѣшить самому суровому судѣ въ всякое время дня и ночи придти къ нему — повѣрить не только дѣла его, но и помыслы. А теперь не только посторонній осудилъ бы его—онъ самъ себя осуждаетъ. Онъ откровенно признается, что весь сотканъ изъ зависти и ненависти. «Самое лучшее и святое право королей,—говоритъ онъ,— это право помилованія. И я всегда чувствовалъ себя королемъ, былъ снисходителенъ, охотно прощалъ всѣхъ направо и налево... Но теперь я уже не король. Во мнѣ происходитъ нѣчто такое, что прилично только рабамъ: въ головѣ моей день и ночь бродятъ злыя мысли, а въ душѣ свили себѣ гнѣздо чувства, какихъ я не зналъ раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я сталъ не въ мѣру строгъ, требователенъ, раздражителенъ, нелюбезенъ, подозрителенъ... Что это значитъ? Если новыя мысли и новыя чувства произошли отъ переменъ убѣжденій, то откуда могла взяться такая переменна? Развѣ міръ сталъ хуже, а я лучше, или раньше я былъ слѣпъ и равнодушенъ? Если же эта переменна произошла отъ общаго упадка физическихъ и умственныхъ силъ—я вѣдь боленъ и каждый день теряю въ вѣсѣ, то положеніе мое жалко: значитъ, мои но-

выя мысли ненормальны, нездоровы, я долженъ стыдиться ихъ и считать ничтожными»...

Такой вопросъ ставитъ старый, умирающій профессоръ, а вмѣстѣ съ нимъ и Чеховъ. Что лучше? Быть ли королемъ, или старой, завистливой, злой «жабой», какъ онъ называетъ себя въ другомъ мѣстѣ? Вопросъ оригинальный, спору нѣтъ. Вы чувствуете въ приведенныхъ словахъ, чего стоила Чехову его оригинальность — и съ какой великой радостью, въ ту минуту, когда для него выяснялась его «новая» точка зрѣнія, отдалъ бы онъ всѣ свои оригинальныя мысли за самую обыкновенную, банальную способность доброжелательства. Для него сомнѣнїй нѣтъ, его образъ мыслей жалокъ, отвратителенъ, постыденъ. Его настроенїя ему такъ же противны, какъ и его наружность, которую онъ описываетъ въ слѣдующихъ выраженїяхъ: «я изображаю изъ себя человѣка 62 лѣтъ, съ лысой головой, съ вставленными зубами и съ неизлѣчимымъ тикомъ. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тусклъ и безобразенъ я самъ. Голова и руки у меня трясутся отъ слабости; шея, какъ у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, ротъ у меня кривится въ сторону; когда улыбаюсь, все лицо покрывается старческими, мертвенными морщинами». Хороша

фигура? Хороши настроенія? Поглядѣть со стороны на такого урода, и въ сердцѣ самаго добраго и сострадательнаго человѣка невольно шевельнется жестокая мысль: поскорѣе добить, уничтожить эту жалкую и отвратительную гадину, или, если нельзя въ силу существующихъ законовъ прибѣгнуть къ такой рѣшительной мѣрѣ — то по крайней мѣрѣ припрятать его подальше отъ человѣческихъ глазъ, куданибудь въ тюрьму, въ больницу, въ сумасшедшій домъ: приемы борьбы, разрѣшаемые не только законодательствомъ, но, если не ошибаюсь, и вѣчной моралью. Но тутъ вы наталкиваетесь на особый видъ сопротивленія. Физическихъ силъ для борьбы съ тюремщиками, палачами, больничными служителями и моралистами у стараго профессора нѣтъ: его и малый ребенокъ свалить. Убѣжденія и просьбы — онъ знаетъ это — не могутъ. И онъ пускается на отчаянное средство: страшнымъ, дикимъ, раздирающимъ душу голосомъ онъ начинаетъ кричать на весь міръ о какихъ-то правахъ своихъ. «Мнѣ хочется прокричать не своимъ голосомъ, что меня, знаменитаго человѣка, судьба приговорила къ смертной казни, что черезъ какихъ-нибудь полгода здѣсь, въ аудиторіи, будетъ хозяйничать другой. Я хочу прокричать, что я отравленъ; новыя мысли, которыхъ я не зналъ раньше, отравили

последніе дни моей жизни и продолжаютъ жали-
ть мой мозгъ, какъ москиты. И въ то время
мое положеніе представляется мнѣ такимъ ужас-
нымъ, что мнѣ хочется, чтобы всѣ мои слуша-
тели ужаснулись, вскочили съ мѣстъ и въ па-
ническомъ страхѣ, съ отчаяннымъ крикомъ, бро-
сились къ выходу». Доводы профессора едва ли
на кого-нибудь подѣйствуютъ—да я и не знаю,
есть ли въ приведенныхъ словахъ доводы. Но
этотъ ужасающій, нечеловѣческій стонъ! Пред-
ставьте себѣ картину: лысый, безобразный ста-
рикъ, съ трясущимися руками, съ искривлен-
нымъ ртомъ, съ высохшей шеей, съ обезумѣв-
шими отъ страха глазами, валяется, какъ звѣрь
на землѣ, и вопить, вопить, вопить!.. Чего ему
нужно?! Онъ прожилъ длинную, интересную
жизнь, теперь осталось бы только красиво за-
кончить ее, возможно тихо, спокойно и торже-
ственно распростившись съ земнымъ существо-
ваніемъ. Но онъ рветъ и мечетъ, призываетъ
къ суду чуть ли не всю вселенную и судорожно
цѣпляется за оставшіеся ему дни. А Чеховъ?
Что дѣлаетъ Чеховъ? Вмѣсто того, чтобы равно-
душно пройти мимо, онъ беретъ сторону чудо-
вищнаго уroda, онъ посвящаетъ десятки стра-
ницъ его «душевному переживаніямъ» и посте-
пенно доводитъ читателя до того, что, вмѣсто
естественнаго и законнаго чувства негодованія,

въ его сердцѣ зарождаются ненужныя и опасныя симпатіи къ разлагающемуся и гніющему существованію. Вѣдь помочь профессору нельзя— это знаетъ всякій. А если нельзя помочь, то, стало быть, нужно забыть: это прописная истина. Какая польза, какой смыслъ можетъ быть въ безконечномъ расписываніи, гр. Толстой сказалъ бы размазываніи, невыносимыхъ мукъ агоніи, неизбѣжно приводящей къ смерти?

Если бы «новыя» мысли и чувства профессора блистали красотой, благородствомъ, самоотверженностью — тогда дѣло иное: читатель могъ бы кой-чему поучиться. Но, какъ видно изъ разсказа Чехова, всѣ эти качества принадлежали старымъ мыслямъ его героя. Теперь, съ началомъ болѣзни, въ немъ зародилось непобѣдимое отвращеніе ко всему, что хотя издалека напоминаетъ высокія чувства. Когда его воспитанница, Катя, обращается къ нему за совѣтомъ что дѣлать — онъ, знаменитый ученый, другъ Пирогова, Кавелина и Некрасова, воспитавшій столько поколѣній молодежи, не знаетъ, что сказать ей. Безсмысленно перебираетъ онъ въ своей памяти цѣлый рядъ хорошихъ словъ — но они потеряли для него всякое значеніе. Что отвѣтить ей?—спрашиваетъ онъ себя. «Легко сказать—трудись или раздай свое имущество бѣднымъ или познай самого себя и потому, что легко сказать,

я не знаю, что отвѣтить». Катя, еще молодая, здоровая и красивая женщина, стараніями Чехова попала, какъ и профессоръ, въ мышеловку, изъ которой человѣческими силами не вырваться. И съ тѣхъ поръ, какъ она познала безнадежность, она завоевала всѣ симпатіи автора. Пока человѣкъ пристроенъ къ какому-нибудь дѣлу, пока человѣкъ имѣетъ хоть что-нибудь впереди себя — Чеховъ къ нему совершенно равнодушенъ. Если и описываетъ его, то обыкновенно нѣско-ро и въ небрежно ироническомъ тонѣ. А вотъ когда онъ запутается, да такъ запутается, что никакими средствами его не выпутаешь — тогда Чеховъ начинаетъ оживляться. Тогда у него являются краски, энергія, подъемъ творческихъ силъ, вдохновеніе. Въ этомъ, можетъ быть, секретъ его политическаго индифферентизма. Несмотря на все свое недовѣріе къ проектамъ лучшаго будущаго, Чеховъ, какъ и Достоевскій, очевидно, не былъ вполне убѣжденъ въ томъ, что общественныя реформы и наука безсильны. Какъ ни труденъ социальный вопросъ, но все же онъ можетъ быть разрѣшимъ. Можетъ, когда-нибудь людямъ и суждено хорошо устроиться на землѣ, такъ, чтобы и жить, и умирать безъ мукъ, и что дальше этого идеала человѣчество не можетъ идти; можетъ быть, авторы толстыхъ трактатовъ о прогрессѣ угадываютъ и прозрѣваютъ что-то. Но

именно потому ихъ дѣло чуждо Чехову. Его сначала инстинктивно, а потомъ и сознательно влекло къ неразрѣшимымъ по существу проблемамъ, въ родѣ той, которая изображена въ «Скучной Исторіи»; въ наличности безсиліе, инвалидство, впереди неизбежная смерть, и никакихъ надеждъ хоть сколько-нибудь измѣнить положеніе. Такое влеченіе, все равно инстинктивное или сознательное, явно противорѣчитъ требованіямъ здраваго разсудка и нормальной воли. Но отъ Чехова, отъ надорвавшагося человѣка, нельзя ожидать ничего другого. О безнадежности всякій знаетъ или слышалъ. Сплошь и рядомъ на нашихъ глазахъ разыгрываются ужасныя, невыносимыя трагедіи и еслибы каждый погибающій, по примѣру Николая Степановича, по поводу своей гибели подымалъ такую ужасную тревогу, жизнь обратилась бы въ кромѣшный адъ, Николай Степановичъ обязанъ не выкрикивать о своихъ мукахъ на весь міръ, а озаботиться о томъ, чтобы возможно меньше беспокоить людей. И Чеховъ обязанъ былъ бы всячески помогать ему въ этомъ почетномъ дѣлѣ. Мало ли скучныхъ исторій на свѣтѣ — всѣхъ не перечесть! Особенно такого рода исторіи, какъ та, о которой рассказываетъ Чеховъ — ихъ бы слѣдовало съ особеннымъ стараніемъ припрятывать какъ можно дальше отъ человѣческихъ взоровъ. Вѣдь здѣсь мы имѣемъ

дѣло съ разложеніемъ живого организма. Чтò бы сказали человѣку, который воспротивился бы преданію землѣ труповъ, который сталъ бы выкапывать изъ могилъ разлагающіяся и гніющія тѣла, хотя бы на томъ основаніи, вѣрнѣе подѣ тѣмъ предлогомъ, что это тѣла близкихъ ему, даже знаменитыхъ, прославленныхъ, геніальныхъ людей?! Такое занятіе въ нормальномъ, здоровомъ духѣ не можетъ вызвать ничего, кромѣ отвращенія и страха. Въ старину колдуны, кудесники, волхвы, по народному повѣрью, водились съ мертвецами и находили въ этомъ страшномъ занятіи что-то въ родѣ удовлетворенія или даже настоящее удовлетвореніе. Но они обыкновенно прятались отъ людей въ лѣса и пещеры, уходили въ пустыни и горы, чтобъ тамъ въ одиночествѣ предаваться своимъ противоестественнымъ склонностямъ. И если случайно удавалось обнаружить ихъ дѣла, здоровые люди отвѣчали имъ кострами, висѣлицами, пытками. То, что называется зломъ, худшій видъ зла обыкновенно имѣлъ своимъ источникомъ и началомъ интересъ и вкусъ въ мертвечинѣ. Человѣкъ прощалъ всякое преступленіе — жестокость, насиліе, убійство, но никогда онъ не прощалъ безкорыстной любви и исканія тайны смерти. Въ этомъ смыслѣ свободная отъ предразсудковъ современность немного дальше зашла, чѣмъ средневѣ-

ковье. Можетъ быть, разница лишь въ томъ, что мы, занятые практическими дѣлами, утратили естественное чутье добра и зла. Мы теоретически даже убѣждены, что колдуновъ и волхвовъ въ наше время не бываетъ и быть не можетъ. Наша увѣренность и безпечность въ этомъ отношеніи доходила до того, что почти всѣ даже въ Достоевскомъ видѣли только художника и публициста и серьезно спорили съ нимъ о томъ, нужны ли русскому народу розги и брать ли намъ Константинополь.

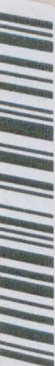
Одинъ Михайловскій смутно догадывался, въ чемъ тутъ дѣло, и называлъ автора «Карамзовыхъ» кладоискателемъ. Я говорю смутно догадывался, ибо мнѣ представляется, что это замѣчаніе было сдѣлано покойнымъ критикомъ отчасти въ иносказательномъ, какъ будто даже въ шутливомъ тонѣ. А межъ тѣмъ никто изъ другихъ критиковъ Достоевскаго не обмолвился даже случайно болѣе мѣткимъ словомъ. И Чеховъ былъ кладоискателемъ, волхвомъ, кудесникомъ, заклинателемъ. Этимъ объясняется его исключительное пристрастіе къ смерти, разложению, гніенію, къ безнадежности.

Не одинъ Чеховъ, конечно, бралъ сюжетомъ для своихъ произведеній смерть. Но дѣло не въ сюжетѣ, а въ томъ, какъ сюжетъ трактуется. Чеховъ понимаетъ это: «Во всѣхъ мысляхъ,

чувствахъ и понятіяхъ, какія я составляю обо всемъ, — рассказываетъ онъ, — нѣтъ чего-то общаго, что связало бы все въ одно цѣлое. Каждое чувство и каждая мысль живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ о наукѣ, литературѣ, ученикахъ, даже во всѣхъ картинахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей, богомъ живого человека. А разъ нѣтъ этого, значитъ нѣтъ ничего. При такой бѣдности достаточно было серьезнаго недуга, страха смерти, вліянія обстоятельствъ и людей, чтобы все, что я прежде считалъ своимъ міровоззрѣніемъ и въ чемъ видѣлъ смыслъ и радость своей жизни, перевернулось вверхъ дномъ и разлетѣлось въ клочья». Въ приведенныхъ словахъ выражается одна изъ самыхъ «новыхъ» мыслей Чехова—ею же опредѣляется и все послѣдующее творчество его. Выражена она въ скромной, покаянной формѣ — человекъ признается въ неспособности подчинить свои мысли высшей идеѣ, и въ такой неспособности видитъ свою слабость. И этого было достаточно, чтобы до нѣкоторой степени отвести отъ него громы критики и суда общественнаго мнѣнія. Кающихся грѣшниковъ мы охотно прощаемъ! Совершенно напрасная снисходительность: недостаточно признать себя виновнымъ, чтобъ искупить свою

вину. Чтò изъ того, что Чеховъ посыпалъ пепломъ главу и публично призналъ себя «виноватымъ», если внутренно онъ остался неизмѣннымъ? Если въ то время, когда онъ на словахъ признавалъ общую идею богомъ (правда, съ маленькой буквы), онъ ровно ничего не сдѣлалъ для нея. На словахъ воскуриваетъ ѳиміамъ «богу», на дѣлѣ проклинаятъ его. Прежде, до болѣзни «міровоззрѣніе» приносило ему радость, теперь — разлетѣлось въ клочья! Не естественно ли поставить вопросъ: да приносило ли ему «міровоззрѣніе» когда бы то ни было радость? Можетъ быть, радости имѣли свой собственный, автономный источникъ; а міровоззрѣніе приглашалось только въ качествѣ свадебнаго генерала, для внѣшней торжественности, и никогда никакой существенной роли не играло? Чеховъ обстоятельно рассказываетъ о томъ, какія радости ему приносили научныя работы, занятія съ учениками, семья, хорошій обѣдъ и такъ далѣе. При всемъ этомъ присутствовало и міровоззрѣніе съ идеей, и не только не мѣшало, но какъ будто бы украшало жизнь. Такъ что казалось, что ради идеи и работаешь, и семью создаешь, и обѣдаешь. А теперь, когда приходится ради идеи бездѣйствовать, мучиться, не спать по ночамъ, съ отвращеніемъ глотать постылые куски — міровоззрѣніе разлетѣлось въ клочья! Выходить,

стало быть, что міровоззрѣніе съ обѣдомъ годится, обѣдъ безъ міровоззрѣнія тоже годится (это доказательства не требуетъ), а міровоззрѣніе an und für sich не имѣетъ никакой цѣны... Въ этомъ сущность приведенныхъ словъ Чехова. Онъ съ ужасомъ признаетъ въ себѣ присутствіе такой «новой» мысли. Ему кажется, что это только онъ такой слабый и ничтожный человѣкъ, что всѣхъ другихъ — хлѣбомъ не корми, только подавай идеи и міровоззрѣнія... Такъ оно собственно и выходитъ, если повѣрить тому, что люди въ книгахъ рассказываютъ... Чеховъ всячески бичуетъ, мучаетъ и терзаетъ себя, но дѣла измѣнить не можетъ. Хуже того. Міровоззрѣнія и идеи, къ которымъ очень многіе относятся довольно равнодушно — въ сущности другого отношенія эти невинныя вещи и не заслуживаютъ — становятся для Чехова предметомъ тяжелой, неутолимой и беспощадной ненависти. Онъ не умѣетъ сразу освободиться отъ власти идей, и потому начинаетъ долгую, упорную и медленную, я бы сказалъ, партизанскую войну съ поработившими его тиранами. Борьба его въ общемъ и въ отдѣльных эпизодахъ представляетъ болышой захватывающій интересъ именно вслѣдствіе того, что еще до сихъ поръ наиболѣе видные представители литературы убѣждены, что идеямъ присуща чудодѣйственная сила. Чѣмъ занимается



2018694379



большинство писателей? Строятъ міровоззрѣнія— и полагаютъ при этомъ, что занимаются необыкновенно важнымъ, священнымъ дѣломъ! Чеховъ оскорбилъ очень многихъ дѣятелей литературы. Если его все-таки относительно щадили, то это произошло, во-первыхъ, оттого, что онъ былъ очень остороженъ, и воевалъ съ такимъ видомъ, какъ-будто приносилъ дань врагу, а во-вторыхъ, таланту многое прощается. ✓

IV.

Содержаніе «Скучной исторіи», такимъ образомъ, сводится къ тому, ^{мы}про профессоръ, дѣлясь своими «новыми» мыслями, въ сущности заявляетъ, что онъ не находитъ возможнымъ признать надъ собою власть «идеи» и добросовѣстно выполнить то, что люди называютъ высшей цѣлью и въ служеніи чему принято видѣть назначеніе, святое назначеніе человѣка. «Пусть меня судитъ Богъ, — у меня не хватаетъ мужества поступить по совѣсти» *),— вотъ единственный отвѣтъ, который находитъ въ своей душѣ Чеховъ на всѣ требованія «міровоззрѣнія». И такое отношеніе къ міровоззрѣнію становится второй природой Чехова. Міровоззрѣніе требуетъ,

*) Скучная исторія, 118.

человѣкъ признаетъ справедливость требованій, и методически не исполняетъ ни одного изъ нихъ. Причемъ признаніе справедливости требованій постепенно идетъ на убыль. Въ «Скучной Истории» идея еще судитъ человѣка и терзаетъ его съ той безпощадностью, которая свойственна всему неживому и неодухотворенному. Точно заноза, впившаяся въ живое тѣло, чуждая и враждебная организму, идея безжалостно выполняетъ свою высокую миссію — до тѣхъ поръ, пока у человѣка не созрѣваетъ твердая рѣшимость вырвать ее изъ себя, какъ бы болѣзненна ни была эта трудная операція. Уже въ «Ивановѣ» роль идеи мѣняется. Уже не она преслѣдуетъ Чехова, а Чеховъ преслѣдуетъ ее самыми отборными насмѣшками и презрѣніемъ. Голосъ живой природы беретъ верхъ надъ наносными культурными привычками. Правда, борьба еще продолжается, если угодно, даже ведется съ переменнымъ счастьемъ. Но прежней покорности нѣтъ. Все больше и больше Чеховъ эмансипируется отъ прежнихъ предразсудковъ и идетъ — куда? На этотъ вопросъ онъ едва ли умѣлъ бы отвѣтить. Но онъ предпочитаетъ оставаться безъ всякаго отвѣта, чѣмъ принять какой бы то ни было изъ традиціонныхъ отвѣтовъ. «Мнѣ отлично извѣстно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, меня теперь должны бы

больше всего занимать вопросы о загробных потемкахъ и о тѣхъ видѣніяхъ, которыя посѣтятъ мой замогильный сонъ. Но почему-то душа моя не хочетъ знать этихъ вопросовъ, хотя умъ сознаетъ всю ихъ важность». Умъ снова, въ противоположность тому, что было раньше, почтительно вытаскивается за дверь, и его права передаются «душѣ», темному, неясному стремленію, которому Чеховъ теперь, когда онъ стоитъ предъ роковой чертой, отдѣляющей человѣка отъ вѣчной тайны, инстинктивно дозвѣряетъ больше, чѣмъ свѣтлomu, ясному сознанію, напередъ предопредѣляющему даже замогильныя перспективы. Научная философія возмутится? Чеховъ подкапывается подъ незыблемѣйшіе ея устои? Но вѣдь Чеховъ надорвавшійся, ненормальный человѣкъ. Его можно не слушать, но разъ, что вы уже рѣшили его выслушать, нужно напередъ быть ко всему готовымъ. Нормальный человѣкъ, если онъ даже метафизикъ самаго крайняго, заоблачнаго толка, всегда пригоняетъ свои теоріи къ нуждамъ минуты; онъ разрушаетъ лишь затѣмъ, чтобы потомъ вновь строить изъ прежняго матеріала. Оттого у него никогда не бываетъ недостатка въ матеріалѣ. Покорный основному человѣческому закону, уже давно отмѣченному и формулированному мудрецами, онъ ограничивается и довольствуется скромной ролью

искателя формъ. Изъ желѣза, которое онъ находитъ въ природѣ готовымъ, онъ выковываетъ мечъ или плугъ, копьѣ или серпъ. Мысль творить изъ ничего едва ли даже приходитъ ему въ голову. Чеховскіе же герои, люди ненормальные par excellence, поставлены въ противоестественную, а потому страшную, необходимость творить изъ ничего. Предъ ними всегда безнадежность, безысходность, абсолютная невозможность какого бы то ни было дѣла. А межъ тѣмъ они живутъ, не умираютъ...

Тутъ является любопытный и необыкновенно важный вопросъ. Я сказалъ, что противно чело-вѣческой натурѣ творить изъ ничего. Но вмѣстѣ съ тѣмъ природа часто отнимаетъ у чело-вѣка готовый матеріалъ и вмѣстѣ съ тѣмъ повелительно требуетъ отъ него творчества. Значитъ ли это, что природа противорѣчитъ самой себѣ? Что она извращаетъ свои созданья? Не правильнѣе ли допустить, что понятіе объ извращеніи имѣетъ чисто чело-вѣческое происхожденіе? Можетъ быть, природа гораздо экономнѣе и мудрѣе нашихъ мудрецовъ и, можетъ быть, мы узнали бы гораздо больше, если бы, взамѣнъ того, чтобъ дѣлить людей на лишнихъ и нелишнихъ, полезныхъ и вредныхъ, добрыхъ и злыхъ, мы, подавивъ въ себѣ на время склонность къ субъективной оцѣнкѣ, попытались бы довѣрчивѣй от-

нестись къ ея твореніямъ? А то сейчасъ «недобрые огоньки», кладоискатель, кудесникъ, колдунъ—и воздвигается между людьми стѣна, которую не только логическими доводами, но и пупками не разобьешь. Я мало надѣюсь, что приведенное соображеніе покажется убѣдительнымъ для тѣхъ, кто привыкъ охранять норму. Да, вѣроятно, и не нужно, чтобы сгладилось живущее межъ людьми представленіе о принципиальной противоположности добра и зла, какъ не нужно, чтобы молодые рождались съ жизненнымъ опытомъ взрослыхъ, чтобы исчезли съ лица земли румянецъ и черныя кудри. Во всякомъ случаѣ это невозможно. Много тысячелѣтій насчитываетъ міръ, много народовъ жило и умирало на землѣ, но, насколько мы знаемъ по сохранившимся книгамъ и преданіямъ, споръ добра со зломъ никогда не прекращался. И всегда было такъ, что добро не боялось дневного свѣта, что добрые жили общественной, объединенной жизнью, а зло пряталось во мракѣ, и злые всегда были одинокими. Иначе и быть не можетъ.

Чеховскіе герои всѣ боятся свѣта, чеховскіе герои — одиноки. Они стыдятся своей безнадёжности и знаютъ, что люди имъ не могутъ помочь. Они идутъ куда-то, можетъ быть, и впередъ, но никого за собой не зовутъ. У нихъ

все отнято, и они все должны создать. Вѣроятно, отсюда то нескрываемое презрѣніе, съ которымъ они относятся къ наиболѣе цѣннымъ продуктамъ обыкновеннаго человѣческаго творчества. О чемъ бы вы ни заговорили съ Чеховскимъ героемъ, у него на все одинъ отвѣтъ: меня никто не можетъ ничему научить. Вы предлагаете ему новое міровоззрѣніе, но онъ съ первыхъ словъ вашихъ уже чувствуетъ, что все оно сводится къ попыткѣ на новый манеръ переложить старые кирпичи и камни, и нетерпѣливо, часто грубо, отворачивается отъ васъ. Чеховъ крайне осторожный писатель. Онъ боится общественнаго мнѣнія и считается съ нимъ. И все-таки, какую нескрываемую брезгливость проявляетъ онъ къ принятымъ идеямъ и міровоззрѣніямъ. Въ «Скучной Исторіи» онъ, по крайней мѣрѣ, сохраняетъ внѣшне почтительный тонъ и позу. Впослѣдствіи онъ бросаетъ всякія предосторожности и, вмѣсто того, чтобы упрекать себя въ неспособности покориться общей идеѣ, открыто возмущается и даже высмѣиваетъ ее. Уже въ «Ивановѣ» это выражено въ достаточной степени — не даромъ эта драма въ свое время вызвала такую бурю негодованія. Ивановъ, какъ я уже говорилъ, поконченный человѣкъ. Все, что можетъ сдѣлать съ нимъ художникъ — это прилично похоронить его, т.-е. похвалить его про-

шлое, пожалѣть о настоящемъ и, затѣмъ, чтобы смягчить безотрадное впечатлѣніе, производимое смертью—пригласить на похороны общую идею. Можно вспомнить о міровыхъ задачахъ человѣчества въ какой-либо изъ безчисленныхъ готовыхъ формъ — и трудный, казавшійся неразрѣшеннымъ, случай устраненъ. На ряду съ умирающимъ Ивановымъ слѣдовало бы нарисовать свѣтлую, молодую, многообѣщающую жизнь, и впечатлѣніе смерти и разрушенія потеряло бы всю свою остроту и горечь. Но Чеховъ поступаетъ прямо обратно: вмѣсто того, чтобы дать молодости и идеѣ власть надъ разрушеніемъ и смертью, какъ то дѣлалось во всѣхъ философскихъ системахъ и во многихъ художественныхъ произведеніяхъ, онъ демонстративно дѣлаетъ центромъ всѣхъ событій ни на что негодную развалину Иванова. На ряду съ Ивановымъ есть молодая жизнь, идеѣ тоже данъ свой представитель. Но молодая Саша, прелестная и обаятельная дѣвушка, всей душой полюбившая разбитаго героя, не только не спасаетъ своего возлюбленнаго, но сама гибнетъ подъ бременемъ непосильной задачи. А идея? Достаточно вспомнить только фигуру доктора Львова, которому Чеховъ довѣрилъ отвѣтственную роль представителя всемогущей властительницы, и вы сразу поймете, что онъ считаетъ себя не подданнымъ и данникомъ

ея, а злѣйшимъ врагомъ. Стоитъ доктору Львову разинуть ротъ, и всѣ дѣйствующія лица, точно сговорившись, наперерывъ самымъ оскорбительнымъ образомъ торопятся оборвать его—насмѣшками, угрозами, чуть ли не подзатыльниками. А между тѣмъ, юный докторъ исполняетъ свои обязанности представителя великой державы не менѣе умѣло и добросовѣстно, чѣмъ его предшественники—Стародумы и другіе почтенные герои старинной драмы. Онъ вступаетъ за обиженныхъ, хочетъ возстановить поправленные права, возмущается неправдой и т. д. Развѣ онъ вышелъ за предѣлы своихъ полномочій? Нѣтъ, конечно. Но тамъ, гдѣ царствуютъ Ивановы и безнадежность, нѣтъ и не можетъ быть мѣста для идеи.

Вмѣстѣ жить имъ невозможно. И на глазахъ у изумленнаго читателя, привыкшаго думать, что всѣ царства могутъ пасть и погибнуть, и что лишь мощь царства идеи несокрушима *in saecula saeculorum*—происходитъ неслыханное зрѣлище: идея свергается съ трона безпомощнымъ, разбитымъ, ни на что негоднымъ человѣкомъ! Чего только ни говорилъ Ивановъ! Уже съ перваго дѣйствія онъ выпаливаетъ такую тираду и не передъ первымъ встрѣчнымъ, а передъ олицетворенной идеей—Стародумомъ-Львовымъ: «Я имѣю право вамъ совѣтовать. Не женитесь вы

ни на еврейкахъ, ни на психопаткахъ, ни на синихъ чулкахъ, а выбирайте себѣ что-нибудь заурядное, сѣренькое, безъ яркихъ красокъ, безъ лишнихъ звуковъ. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чѣмъ сѣрѣе и монотоннѣе фонъ, тѣмъ лучше. Голубчикъ, не воюйте въ одиночку съ тысячами, не сражайтесь съ мельницами, не бейтесь лбомъ о стѣны. Да хранитъ васъ Богъ отъ всевозможныхъ раціональныхъ хозяйствъ, необыкновенныхъ школъ, горячихъ рѣчей... Запритесь себѣ въ свою раковину и дѣлайте свое маленькое, Богомъ данное дѣло... Это теплѣе, честнѣе и здоровѣе». Докторъ Львовъ, представитель всемогущей, самодержавной идеи, чувствуетъ, что его повелительница оскорблена въ своихъ державныхъ правахъ, что терпѣть подобныя оскорбленія значитъ фактически отказаться отъ суверенитета. Вѣдь Ивановъ былъ и долженъ оставаться вассаломъ. Какъ повернулся у него языкъ совѣтовать, какъ смѣлъ онъ возвысить голосъ тамъ, гдѣ онъ долженъ былъ благоговѣнно слушать и безмолвно, безропотно повиноваться?! Вѣдь это бунтъ! Львовъ пытается выпрямиться во весь ростъ и съ достоинствомъ отвѣтить дерзкому мятежнику. Но у него ничего не выходитъ. Дрожащимъ, нетвердымъ голосомъ онъ бормочетъ привычныя слова, которыя еще такъ недавно имѣли всепобѣждающую силу. Но

они не оказываютъ обычнаго дѣйствія. Ихъ сила ушла. Куда? Львовъ даже и признаться себѣ не смѣетъ: къ Иванову. И это уже ни для кого больше не тайна. Какихъ бы подлостей и гадостей ни надѣлалъ Ивановъ — а Чеховъ не скупится въ этомъ смыслѣ, и въ послужномъ спискѣ его героя значатся всевозможныя преступленія, вплоть до почти сознательнаго убійства преданной ему женщины — все же предъ нимъ, а не передъ Львовымъ склоняется общественное мнѣніе. Ивановъ — духъ разрушенія, грубый, рѣзкій, безжалостный, ни передъ чѣмъ не останавливающийся. А слово «подлецъ», которое съ мучительнымъ усиліемъ вырываетъ изъ себя и посылаетъ ему докторъ, къ нему не пристаетъ. Онъ какъ-то правъ, своей особенной, никому непонятной, но бесспорной, если вѣрить Чехову, правотой. Саша, молодое, чуткое, даровитое существо, идетъ къ нему поклониться, равнодушно минуя фигуру честнаго Стародума-Львова. Вся драма на этомъ построена. Ивановъ, правда, подъ конецъ стрѣляется — и это, если угодно, можетъ дать формальное основаніе думать, что окончательная побѣда все-таки осталась за Львовымъ. И Чеховъ хорошо сдѣлалъ, что такъ закончилъ пьесу — не затягивать же ее до безконечности. А досказать исторію Иванова дѣло не легкое. Чеховъ потомъ еще 15 лѣтъ писалъ,

все досказывалъ недосказанное, а все-таки пришлось оборвать, не дойдя до конца...

Тотъ, кто вздумалъ бы обращенныя Ивановымъ къ Львову слова истолковывать въ томъ смыслѣ, что Чеховъ, подобно Толстому времени «Войны и Мира», видѣлъ въ обыденномъ устройствѣ жизни свой «идеалъ», плохо понялъ бы автора. Чеховъ только оборонялся противъ «идеи» и говорилъ ей самое обидное, что приходило въ голову. Ибо что можетъ быть обиднѣе для идеи, чѣмъ выслушивать похвалу обыденности?! Но при случаѣ Чеховъ умѣлъ не менѣе ядовито обрисовать и обыденность. Къ примѣру хотя бы рассказъ «Учитель словесности». Учитель совсѣмъ живетъ по преподанному Ивановымъ рецепту. И служба, и жена Манюся — не еврейка, не психопатка, не синій чулокъ, — и домъ раковина и т. д., и все это не мѣшаетъ Чехову полегоньку да помаленьку загнать бѣднаго учителя въ обычную западную-мышеловку, довести его до такого состоянія, что остается только «упасть на полъ, кричать и биться головой о полъ». У Чехова «идеала» не было, даже идеала обыденности, который съ такимъ неподражаемымъ, несравненнымъ мастерствомъ воспѣлъ въ своихъ раннихъ произведеніяхъ графъ Толстой. Идеалъ предполагаетъ подчиненіе, добровольный отказъ отъ своихъ правъ на независимость, свободу и

силу — такого рода требованія, даже намеки на такого рода требованія возбуждали въ Чеховѣ всю силу отвращенія и омерзѣнія, на которыя только онъ былъ способенъ...✓

V.

Итакъ, настоящій, единственный герой Чехова—это безнадежный человѣкъ. «Дѣлать» такому человѣку въ жизни абсолютно ничего—развѣ колотиться головой о камни. Нѣтъ ничего удивительнаго, что такой человѣкъ невыносимъ для окружающихъ. Онъ всюду вноситъ смерть и разрушеніе. Онъ самъ это знаетъ, но не въ силахъ сторониться отъ людей. Онъ всей душой стремится вырваться изъ своего ужаснаго положенія. Больше всего его влечетъ къ свѣжимъ, молодымъ, нетронутымъ существамъ: онъ надѣется съ ихъ помощью вернуть свое утраченное право на жизнь. Напрасная надежда! Начало разрушенія всегда оказывается всепобѣждающимъ, и чеховскій герой, въ концѣ концовъ, остается предоставленнымъ самому себѣ. У него ничего нѣтъ, онъ все долженъ создать самъ. И вотъ «творчество изъ ничего», вѣрнѣе, возможность творчества изъ ничего—единственная проблема, которая способна занять и вдохновить Чехова. Когда онъ обобралъ своего героя

до послѣдней нитки, когда герою остается только колотиться головой о стѣну, Чеховъ начинаетъ чувствовать нѣчто въ родѣ удовлетворенія, въ его потухшихъ глазахъ зажигается странный огонь, недаромъ показавшійся Михайловскому недобрымъ. Творчество изъ ничего! Не выходитъ ли эта задача за предѣлы человѣческихъ силъ, человѣческихъ правъ? Для Михайловскаго, очевидно, не было двухъ отвѣтовъ на этотъ вопросъ... Что до самого Чехова, то если бы ему предложили этотъ вопросъ въ такой умышленно рѣзкой формулировкѣ, — онъ, вѣроятно, не умѣлъ бы на него отвѣтить, хотя постоянно имѣлъ съ нимъ дѣло или, лучше сказать, потому что постоянно имѣлъ съ нимъ дѣло. Можно, не боясь ошибиться, сказать, что тѣ люди, которые безъ колебаній отвѣчаютъ на него въ томъ или иномъ смыслѣ, никогда близко не подходили къ нему, да и вообще ко всѣмъ такъ называемымъ послѣднимъ вопросамъ бытія. Колебаніе —необходимый составной элементъ въ сужденіяхъ человѣка, котораго судьба подводила къ роковымъ задачамъ. Какъ дрожала рука у Чехова, когда онъ дописывалъ заключительныя строки своей «Скучной исторіи»! Воспитанница профессора, —самое близкое и дорогое ему, но такое же надорванное, потерявшее надежды, хотя еще молодое, существо — пріѣхала къ нему за

совѣтомъ въ Харьковъ. И вотъ между ними происходитъ слѣдующій разговоръ:

— «Николай Степановичъ! — говоритъ она, блѣднѣя и сжимая на груди руки. — Николай Степановичъ! Я не могу дольше такъ жить! Не могу! Ради истиннаго Бога, скажите скорѣй, сію минуту, что мнѣ дѣлать? Говорите, что мнѣ дѣлать?»

— Что же я могу сказать? — недоумѣваю я. — Ничего я не могу.

— Говорите, умоляю васъ! — продолжаетъ она, задыхаясь и дрожа всѣмъ тѣломъ. — Клянусь вамъ, что я не могу дольше такъ жить. Силъ моихъ нѣтъ!

Она падаетъ на стулъ и начинаетъ рыдать. Она закинула назадъ голову, ломаетъ руки, топчетъ ногами; шляпка ея свалилась съ головы и болтается на резинкѣ, прическа растрепалась.

— Помогите мнѣ, помогите! — умоляетъ она. — Не могу я дольше!

— Ничего я не могу сказать тебѣ, Катя, — говорю я.

— Помогите! — рыдаетъ она, хватая меня за руку и цѣлуя ее. — Вѣдь вы мой отецъ, мой единственный другъ. Вѣдь вы умны, образованы, долго жили! Вы были учителемъ! Говорите же, что мнѣ дѣлать?

— По совѣсти, Катя, не знаю.



Я растерялся, сконфузился, тронуть рыданьями Кати и едва стою на ногахъ.

— Давай, Катя, завтракать,—говорю я, натянуто улыбаясь.—Будетъ плакать!

И тотчасъ же прибавляю упавшимъ голосомъ:

— Меня скоро не станетъ, Катя...

— Хоть одно слово, хоть одно слово!—плачетъ она, протягивая ко мнѣ руки...»

Но этого слова не нашлось у профессора. Онъ переводитъ разговоръ на погоду, Харьковъ и прочія безразличныя вещи. Катя встаетъ и, не глядя на него, протягиваетъ ему руку. «Мнѣ хочется спросить, кончаетъ онъ свой рассказъ: значитъ, на похоронахъ у меня не будешь? Но она не глядитъ на меня, рука у нея холодная, словно чужая... Я молча провожаю ее до дверей. Вотъ она вышла отъ меня, идетъ по длинному коридору, не оглядываясь. Она знаетъ, что я гляжу ей вслѣдъ и, вѣроятно, на поворотѣ оглянется. Нѣтъ, не оглянулась. Черное платье въ послѣдній разъ мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!»... «Не знаю», только этими словами умѣетъ отвѣтить на вопросъ Кати умный, образованный, долго жившій, всю жизнь свою бывшій учителемъ Николай Степановичъ! Во всемъ его огромномъ опытѣ прошлыхъ лѣтъ не находится ни одного приема, правила или со-

вѣта, который бы хоть сколько-нибудь соотвѣтствовалъ дикой несообразности новыхъ условій его собственнаго и Катинаго существованія. Катя не можетъ больше такъ жить, но и онъ самъ не можетъ дольше выносить своей отвратительной и позорной безпомощности. Они оба — онъ старый, она молодая — оба всей душой хотѣли бы поддержать другъ друга, и оба ничего не умѣютъ придумать. На ея «что мнѣ дѣлать» онъ отвѣчаетъ: «меня скоро не станетъ», т.-е. воспросомъ же, на его «меня скоро не станетъ» она отвѣчаетъ безумнымъ рыданіемъ, ломаніемъ рукъ и нелѣпымъ повтореніемъ однихъ и тѣхъ же словъ. Лучше было бы ни о чемъ не спрашивать, не начинать «душевнаго», откровеннаго разговора. Но они еще въ этомъ не дали себѣ отчета. Въ ихъ прежней жизни разговоръ облегчалъ, откровенныя признанія сближали. Теперь, наоборотъ: послѣ такого свиданія люди уже не въ состояніи выносить другъ друга. Катя уходитъ отъ стараго профессора, отъ своего пріемнаго, отъ своего родного отца и друга съ сознаніемъ, что онъ ей сталъ чужимъ. Она даже, уходя, не обернулась къ нему. Оба почувствовали, что имъ осталось только колотиться головой объ стѣну. Въ этомъ занятіи каждый дѣйствуетъ за свой страхъ, и объ утѣшающемъ единеніи душъ уже нельзя мечтать...

VI.

Чеховъ зналъ, до чего онъ договорился въ «Скучной Исторіи» и въ «Ивановѣ». Нѣкоторые критики тоже знали и поставили ему это на видъ. Не берусь сказать, что именно—боязнь ли общественнаго мнѣнія, или ужасъ предъ сдѣланными открытіями, или то и другое вмѣстѣ, но, очевидно, у Чехова былъ моментъ, когда онъ рѣшился во что бы то ни стало покинуть занятую имъ позицію и повернуть назадъ. Плодомъ такого рѣшенія была «Палата № 6». Въ этомъ разсказѣ дѣйствующимъ лицомъ является все тотъ же, знакомый намъ, Чеховскій человѣкъ, докторъ. И обстановка довольно привычная, хотя нѣсколько измѣненная. Въ жизни доктора ничего особеннаго не произошло. Онъ попалъ въ провинціальную дыру и, постепенно, все сторонясь отъ людей и жизни, дошелъ до состоянія совершенной безвольности, которая въ его представленіи стала идеаломъ человѣческаго существованія. Онъ ко всему равнодушенъ, начиная со своей больницы, въ которой онъ почти не бываетъ, гдѣ царствуетъ пьяный и грубый фельдшеръ, гдѣ обиравутъ, залѣчиваютъ больныхъ.

Въ психіатрическомъ отдѣленіи хозяйничаетъ сторожъ изъ отставныхъ солдатъ, управляю-

щійся кулаками съ неспокойными паціентами. Доктору—все равно, точно онъ живетъ гдѣ-то далеко, въ иномъ мірѣ, и не понимаетъ того, что происходитъ на его глазахъ. Случайно попадаетъ онъ въ психіатрическое отдѣленіе и вступаетъ въ бесѣду съ однимъ изъ больныхъ. Больной жалуется ему на порядки, точнѣе, на отвратительные безпорядки въ отдѣленіи. Докторъ спокойно выслушиваетъ его слова, но реагируетъ на нихъ не дѣломъ, а словами же. Онъ пытается доказать своему сумасшедшему собеседнику, что внѣшнія условія не могутъ на насъ имѣть никакого вліянія. Сумасшедшій не соглашается, говоритъ ему дерзости, представляетъ возраженія, въ которыхъ, какъ въ мысляхъ многихъ помѣшанныхъ, на ряду съ бессмысленными утвержденіями встрѣчаются очень глубокія замѣчанія. Даже, пожалуй, первыхъ очень мало, такъ что по разговорѣ и не догадаешься, что имѣешь дѣло съ больнымъ. Докторъ въ восторгѣ отъ своего новаго знакомства, но пальцемъ о палецъ не ударить, чтобъ облегчить чѣмъ-нибудь его. Теперь, какъ и прежде, несчастный находится во власти сторожа, который, при малѣйшемъ неповиновеніи, бьетъ его. Больной, докторъ, окружающіе, вся обстановка больницы и квартиры доктора описаны съ удивительнымъ талантомъ. Все настраиваетъ къ абсо-

лютному несопротивленію и фаталистическому равнодушію: пусть пьянствуютъ, дерутся, грабятъ, насильничаютъ — все равно, такъ, видно, предопредѣлено на высшемъ совѣтѣ природы. Исповѣдуемая докторомъ философія бездѣйствія точно подсказана и напечатана неизмѣнными законами человѣческаго существованія. Кажется, нѣтъ силъ вырваться изъ ея власти. До сихъ поръ все болѣе или менѣе въ Чеховскомъ стилѣ. Но конецъ—совсѣмъ иного рода. Докторъ самъ, благодаря интригамъ своего коллеги, попадаетъ въ психіатрическое отдѣленіе больницы въ качествѣ пациента. Его лишаютъ свободы, запираютъ въ больничномъ флигелѣ и даже бьютъ, бьетъ тотъ самый сторожъ, съ которымъ онъ училъ мириться своего сумасшедшаго собесѣдника и на глазахъ у этого собесѣдника. Докторъ мгновенно пробуждается точно отъ сна. Въ немъ является жажда борьбы, протеста. Правда, онъ тутъ же умираетъ, но идея все таки торжествуетъ. Критика могла считать себя вполне удовлетворенной — Чеховъ открыто покаялся и отрекся отъ теоріи непротивленія. И, кажется «Палату № 6» въ свое время очень сочувственно приняли. Кстати прибавимъ, что докторъ умираетъ очень красиво: въ послѣднія минуты видитъ стадо оленей и т. п.

И въ самомъ дѣлѣ, построеніе разсказа не

оставляетъ сомнѣнія. Чеховъ хотѣлъ уступить и уступилъ. Онъ почувствовалъ невыносимость безнадежности, невозможность творчества изъ ничего. Колотиться головой о камни, вѣчно колотиться головой о камни это такъ ужасно, что лучше уже вернуться къ идеализму. Оправдалась дивная русская поговорка: отъ сѹмы и отъ тюрьмы не зарекайся. Чеховъ примкнулъ къ сонму русскихъ писателей и сталъ воспѣвать идею. Но—не надолго! Ближайшій по времени рассказъ его «Дуэль» носить уже иной характеръ. Развязка въ немъ тоже какъ будто бы идеалистическая, но только какъ будто бы. Главный герой Лаевскій—«паразитъ», какъ всѣ Чеховскіе герои. Онъ ничего не дѣлаетъ и ничего дѣлать не умѣетъ, даже не хочетъ, живетъ на половину на чужой счетъ, входитъ въ долги, соблазняетъ женщинъ и т. д. Положеніе его невыносимое. Живетъ съ чужой женой, которая опостылѣла ему, какъ и собственная особа, но отъ которой онъ не умѣетъ избавиться, вѣчно нуждается и кругомъ въ долгахъ, знакомые его не любятъ и презираютъ. Онъ всегда такъ чувствуетъ себя, что готовъ бѣжать, безъ оглядки, все равно куда, лишь бы уйти съ того мѣста, гдѣ онъ сейчасъ живетъ. И его незаконная жена приблизительно въ такомъ же, если не болѣе ужасномъ, состояніи. Неизвѣстно зачѣмъ, безъ любви,

даже безъ влеченія она отдается первому встрѣчному пошляку. Потомъ ей кажется, что ее съ ногъ до головы облили грязью, и эта грязь такъ пристала къ ней, что не смоешь даже цѣлымъ океаномъ воды. И вотъ такая парочка живетъ на свѣтѣ, въ глухомъ городкѣ Кавказа и естественно привлекаетъ вниманіе Чехова. Тема интересная, что и говорить: два облитыхъ грязью человѣка, не выносящихъ ни себя, ни другихъ...

Для контраста Чеховъ сталкиваетъ Лаевского съ зоологомъ фонъ-Кореномъ, пріѣхавшимъ въ приморскій городъ по важному, всѣми признаваемому важному, дѣлу изучать эмбриологію медузы. Фонъ-Корень, какъ видно по фамиліи, изъ нѣмцевъ, стало быть нарочито, здоровый и нормальный, чистый человѣкъ, потомокъ Гончаровскаго Штольца, прямая противоположность Лаевскому, въ свою очередь состоящему въ близкомъ родствѣ со старикомъ Обломовымъ. Но у Гончарова противопоставленіе Обломову Штольца имѣло совсѣмъ иной характеръ и смыслъ, чѣмъ у Чехова. Романистъ 40-хъ годовъ надѣялся, что сближеніе съ западной культурой обновитъ и воскреситъ Россію. И самъ Обломовъ изображенъ не совсѣмъ еще безнадежнымъ человѣкомъ. Онъ только лѣнивъ, неподвиженъ, непріимчивъ. Кажется, проснись онъ—онъ деся-

токъ Штольцевъ за поясъ заткнетъ. Иное дѣло Лаевскій. Этотъ уже проснулся, давно проснулся—но его пробужденіе не принесло съ собой добра... «Природы онъ не любитъ, Бога у него нѣтъ, всѣ довѣрчивыя дѣвочки, которыхъ онъ зналъ, сгублены имъ или его сверстниками, въ родномъ саду своемъ онъ за всю жизнь не посадилъ ни одного деревца и не выростилъ ни одной травки, а, живя среди живыхъ, не спасъ ни одной мухи, а только разрушалъ, губилъ и лгалъ, лгалъ». Добродушный увалень Обломовъ выродился въ отвратительную и страшную гадину. А чистый Штольцъ живъ и остался въ своихъ потомкахъ чистымъ! Только съ новыми Обломовыми онъ уже иначе разговариваетъ. Фонъ-Коренъ называетъ Лаевского негодяемъ и мерзавцемъ и требуетъ къ нему примѣненія самыхъ строгихъ каръ. Помирить Корена съ Лаевскимъ невозможно. Чѣмъ чаще имъ приходится сталкиваться межъ собой, тѣмъ глубже, неумолимѣй и беспощаднѣй они ненавидятъ другъ друга. вмѣстѣ жить имъ на землѣ нельзя. Одно изъ двухъ: либо нормальный фонъ-Коренъ, либо вырожденецъ декадентъ Лаевскій. При чемъ вся внѣшняя, матеріальная сила на сторонѣ фонъ-Корена, конечно. Онъ всегда правъ, всегда побѣждаетъ, всегда торжествуетъ и въ поступкахъ своихъ и въ теоріяхъ. Любопытная вещь:

Чеховъ непримиримый врагъ всякаго рода философіи. Ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ его произведеніяхъ не философствуетъ, а если философствуетъ, то обыкновенно неудачно, смѣшно, слабо, неубѣдительно. Исключеніе представляетъ фонъ-Корень, типическій представитель позитивно-матеріалистическаго направленія. Его слова дышатъ силой, убѣжденіемъ. Въ нихъ есть даже пафосъ и максимумъ логической послѣдовательности. Въ разсказахъ Чехова много героевъ матеріалистовъ, но съ отгѣнкомъ скрытаго идеализма, по выработанному въ 60-хъ годахъ шаблону. Такихъ Чеховъ держитъ въ черномъ тѣлѣ и высмѣиваетъ. Идеализмъ во всѣхъ видахъ, явный и тайный, вызывалъ въ Чеховѣ чувство невыносимой горечи. Ему легче было выслушивать безпощадныя угрозы прямолинейнаго матеріализма, чѣмъ принимать худосочныя утѣшенія гуманизирующаго идеализма. Есть въ мірѣ какая-то непобѣдимая сила, давящая и уродующая человѣка—это ясно до осязаемости. Малѣйшая неосторожность, и самый великій, какъ и самый малый, становится ея жертвой. Обманывать себя можно только до тѣхъ поръ, пока знаешь о ней только по наслышкѣ. Но кто однажды побывалъ въ желѣзныхъ лапахъ необходимости, тотъ навсегда утратилъ вкусъ въ идеалистическимъ самообольщеніямъ. Онъ уже не уменьшаетъ — онъ

скорѣй склоненъ преувеличивать силу врага. А чистый, послѣдовательный матеріализмъ, который проповѣдуетъ фонъ-Коренъ, наиболѣе полно выражаетъ нашу зависимость отъ стихійныхъ силъ природы. Фонъ-Коренъ говоритъ, точно молотомъ бьетъ, и каждый его ударъ попадаетъ не въ Лаевского, а въ Чехова, въ самыя больныя мѣста его. Онъ даетъ Корену все больше и больше силъ, онъ самъ подставляетъ себя подъ его удары. Зачѣмъ? Почему? А вотъ подите же! Можетъ быть, жила въ Чеховѣ тайная надежда, что самоистязаніе для него единственный путь къ новой жизни? Онъ этого намъ не сказалъ. Можетъ, и самъ не зналъ, а можетъ быть, боялся оскорбить позитивистическій идеализмъ, такъ безраздѣльно властвующій въ современной литературѣ. Онъ не смѣлъ еще выступать противъ европейскаго общественнаго мнѣнія — вѣдь наши философскія міровоззрѣнія не нами выдуманы, а занесены къ намъ изъ Европы! И, чтобы не спорить съ людьми, онъ придумалъ для своего страшнаго разсказа шаблонную, утѣшительную развязку. Въ концѣ разсказа Лаевскій «исправляется», женится на своей любовницѣ, бросаетъ безпутную жизнь и начинаетъ старательно переписывать бумаги, чтобъ уплатить долги. Нормальные люди могутъ быть вполне удовлетворены, ибо нормальные люди въ баснѣ

читаютъ только послѣднія строчки—мораль, а мораль «Дуэли» самая здоровая: Лаевскій исправился и сталъ бумаги переписывать. Правда, можетъ показаться, что такого рода конецъ больше похожъ на насмѣшку надъ моралью, но нормальные люди не слишкомъ проникательные психологи; они боятся двойственности и съ присущей имъ «искренностью» всѣ слова писателя принимаютъ за чистую монету. Въ добрый часъ!

VII.

Единственная философія, съ которой серьезно считался и потому серьезно боролся Чеховъ—былъ позитивистическій матеріализмъ. Именно позитивистическій, т.-е. ограниченный, не претендующій на теоретическую законченность. Всѣмъ существомъ своимъ Чеховъ чувствовалъ страшную зависимость живого человѣка отъ невидимыхъ, но властныхъ и явно бездушныхъ законовъ природы, а вѣдь матеріализмъ, въ особенности научный матеріализмъ, сдержанный, не гоняющійся за послѣднимъ словомъ и логической закругленностью, цѣликомъ сводится къ обрисовкѣ внѣшнихъ условій нашего существованія. Ежедневный, ежечасный, даже ежеминутный опытъ убѣждаетъ насъ, что одинокій слабый человѣкъ, сталкиваясь съ законами при-

роды, постоянно долженъ приспособляться и уступать, уступать, уступать. Нельзя старому профессору вернуть свою молодость, нельзя надорвавшемуся Иванову скрѣпить себя, нельзя Лаевскому отмыть облѣпившую его грязь и т. д. безъ конца рядъ неумолимыхъ, чисто материалистическихъ нельзя, противъ которыхъ человѣческій геній не умѣетъ выставить ничего, кромѣ покорности или забвенія. *Résigne-toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute*—иныхъ словъ мы не найдемъ предъ лицомъ картинъ, развернувшихся въ чеховскихъ произведеніяхъ. Покорность внѣшняя, а подъ ней затаенная, тяжелая, злобная ненависть къ невѣдомому врагу. Сонъ, забвеніе только кажущіеся — ибо развѣ спитъ, развѣ забывается человѣкъ, который свой сонъ называетъ *sommeil de brute*? Но какъ быть иначе? Бурные протесты, которыми наполнена «Скучная исторія», потребность излить наружу накопившееся негодованіе скоро начинаютъ казаться ненужными и даже оскорбительными для человѣческаго достоинства. Послѣдняя протестующая пьеса Чехова — «Дядя Ваня». Дядя Ваня, какъ старый профессоръ, какъ Ивановъ, бьетъ въ набатъ, поднимаетъ неслыханную тревогу по поводу своей загубленной жизни. Тоже не своимъ голосомъ онъ вопитъ на всю сцену: пропала жизнь, пропала жизнь, — точно и въ самомъ

дѣлѣ кто-нибудь изъ окружающихъ его людей, кто-нибудь во всемъ мірѣ можетъ быть въ отвѣтѣ по поводу его бѣды. Ему мало крика и воплей. Онъ осыпаетъ оскорбленіями родную мать. Какъ безумный, безъ всякой цѣли, безъ всякой нужды онъ начинаетъ палить изъ револьвера въ своего воображаемаго врага, жалкаго и несчастнаго старика, отца некрасивой Сони. Собственного голоса ему мало, и онъ прибѣгаетъ къ револьверу. Онъ готовъ былъ бы палить изъ всѣхъ пушекъ, какія есть на свѣтѣ, бить во всѣ барабаны, звонить во всѣ колокола. Ему кажется, что всѣ люди, весь міръ спитъ, что нужно разбудить ближнихъ. Онъ готовъ на какую угодно нелѣпость, ибо разумнаго выхода для него нѣтъ, а сразу признаться, что нѣтъ выхода — на это ни одинъ человѣкъ не способенъ. И начинается Чеховская исторія: примириться невозможно, не примириться тоже невозможно, остается колотиться головой о стѣну. Самъ дядя Ваня продѣлываетъ это открыто, на людяхъ, но какъ потомъ больно ему вспоминать о своей невоздержанной откровенности! Когда всѣ разѣзжаются послѣ бессмысленной и мучительной сцены, дядя Ваня понимаетъ, что молчать нужно было, что нельзя признаваться никому, даже самому близкому человѣку въ извѣстныхъ вещахъ. Посторонній глазъ не выноситъ зрѣ-

лица безнадежности. «Проворонилъ жизнь» — пеняй на себя: ты уже больше не человѣкъ, все человѣческое тебѣ чуждо. И ближніе для тебя уже не ближніе, а чужіе. Ты не въ правѣ ни помогать другимъ, ни ждать отъ другихъ помощи. Твой удѣлъ абсолютное одиночество. По-немногу Чеховъ убѣждается въ этой «истинѣ»: дядя Ваня послѣдній опытъ шумнаго, публичнаго протеста, вызывающей «декларациі правъ». Даже и въ этой пьесѣ неистовствуетъ одинъ дядя Ваня—хотя въ числѣ дѣйствующихъ лицъ есть и докторъ Астровъ, и бѣдная Соня, которые тоже въ правѣ были бы бунтовать и даже изъ пушекъ палить. Но они молчатъ. Они даже повторяютъ какія-то хорошія, ангельскія слова на тему о счастливомъ будущемъ человѣчества— иначе выражаясь, они удвоенно молчатъ, ибо въ устахъ такихъ людей «хорошія слова» обозначаютъ совершенную оторванность отъ міра; они ушли отъ всѣхъ и никого къ себѣ не подпускаютъ. Хорошими словами они, какъ китайской стѣной, оградили себя отъ любопытства и любознательности ближнихъ. Снаружи они похожи на всѣхъ— значитъ внутренней ихъ жизни никто коснуться не смѣетъ...

Какой смыслъ, какое значеніе этой напряженной внутренней работы поконченныхъ людей? Чеховъ, вѣроятно, на этотъ вопросъ отвѣтилъ

бы тѣми же словами, какими Николай Степановичъ отвѣчалъ на вопросы Кати: «не знаю». Больше бы онъ ничего не прибавилъ. Но эта жизнь, больше похожая на смерть, чѣмъ на жизнь — она одна только привлекала и занимала его. Оттого и рѣчь его изъ году въ годъ становилась тише и медлительнѣе. Среди нашихъ писателей — Чеховъ типайшій писатель. Вся энергія героевъ его произведеній направлена вовнутрь, а не наружу. Они ничего видимаго не создаютъ, хуже того — они все видимое разрушаютъ своей внѣшней пассивностью и бездѣйствіемъ. «Положительный мыслитель» въ родѣ фонъ-Корена безъ колебанія клеймитъ ихъ страшными словами, тѣмъ болѣе довольный собой и своей справедливостью, чѣмъ больше энергіи вкладываетъ онъ въ свои выраженія. «Мерзавцы, подлецы, вырождающіеся, макаки» и т. д., чего только ни придумалъ фонъ-Коренъ по поводу Лаевскихъ! Явный положительный мыслитель хочетъ принудить Лаевского переписывать бумаги. Неявные положительные мыслители, т.-е. идеалисты и метафизики, бранныхъ словъ не употребляютъ. Зато они заживо хоронятъ чеховскихъ героевъ на своихъ идеалистическихъ кладбищахъ, именуемыхъ міровоззрѣніями. Самъ же Чеховъ отъ «разрѣшенія вопроса» воздерживается съ настойчивостью, которой большин-

ство критиковъ, вѣроятно, желало бы лучшей участи, и продолжаетъ свои длинные, бесконечно длинные рассказы о людяхъ, о жизни людей, которымъ нечего терять — точно въ мірѣ только и было интереснаго, что это кошмарное висѣніе между жизнью и смертію. О чемъ говоритъ оно намъ? О жизни, о смерти? Опять нужно отвѣтить «не знаю», тѣми словами, которыя возбуждаютъ наибольшее отвращеніе положительныхъ мыслителей, но которыя загадочнымъ образомъ являются постояннымъ элементомъ въ сужденіяхъ чеховскихъ людей. Оттого имъ такъ близка враждебная имъ матеріалистическая философія. Въ ней нѣтъ отвѣта, обязывающаго къ радостной покорности. Она бьетъ, уничтожаетъ человѣка — но она не называетъ себя разумной, не требуетъ себѣ благодарности, ей ничего не нужно, ибо она бездушна и безсловесна. Ее можно признавать и вмѣстѣ ненавидѣть. Удастся справиться съ ней человѣку — онъ правъ; не удастся—*vae victis*. Какъ отрадно звучитъ голосъ откровенной безпощадности неодушевленной, безличной, равнодушной природы сравнительно съ лицомѣрно сладкими напѣвами идеалистическихъ, человѣческихъ міровоззрѣній! А затѣмъ, и это самое главное, съ природой все-таки возможна борьба! И въ борьбѣ съ природой всѣ средства разрѣшаются. Въ борьбѣ

съ природой человѣкъ всегда остается человѣкомъ и, стало быть, правымъ, что бы онъ ни предпринялъ для своего спасенія. Даже, если бы онъ отказался признать основной принципъ міроузданія—неуничтожимость матеріи и энергіи, законъ инерціи и т. д. Ибо самая коллоссальная мертвая сила должна служить человѣку, кто станетъ оспаривать это? Иное дѣло «міровоззрѣніе»! Прежде, чѣмъ изречь слово, оно ставитъ неоспоримое требованіе: человѣкъ долженъ служить идеѣ. И это требованіе считается мало того, что само собою разумѣющимся—еще необыкновенно возвышеннымъ. Удивительно ли, что въ выборѣ между идеализмомъ и матеріализмомъ Чеховъ склонился на сторону послѣдняго—сильнаго, но честнаго противника? Съ идеализмомъ можно бороться только презрѣніемъ, и въ этомъ смыслѣ сочиненія Чехова не оставляютъ ничего желать... Какъ бороться съ матеріализмомъ? И можно ли его побѣдить? Можетъ быть, читателю покажутся странными приемы Чехова, но, очевидно, онъ пришелъ къ убѣжденію, что есть только одно средство борьбы, къ которому прибѣгали уже древніе пророки: колотиться головой о стѣну. Безъ грома, безъ пальбы, безъ набата, одиноко и молчаливо, вдали отъ ближнихъ, своихъ и чужихъ, собрать всѣ силы отчаянія для безсмысленной и давно осужден-

ной наукой и здравымъ смысломъ попытки. Но развѣ отъ Чехова вы въ правѣ были ждать санкціи научной методологіи? Наука отняла у него все: онъ осужденъ на творчество изъ ничего, т.-е. на такое дѣло, на которое нормальный человѣкъ, пользующійся только нормальными приѣмами, абсолютно неспособенъ. Чтобы сдѣлать невозможное, нужно прежде всего отказаться отъ рутинныхъ приемовъ. Какъ бы упорно мы ни продолжали научныя изысканія, они не дадутъ намъ жизненнаго эликсира. Вѣдь наука съ того и начала, что отбросила, какъ принципиально недостижимое, стремленіе къ человѣческому всемогуществу: ея методы таковы, что успѣхи въ однѣхъ областяхъ исключаютъ даже изысканія въ другихъ. Иначе говоря, научная методологія опредѣляется характеромъ задачъ, поставляемыхъ себѣ наукой. И дѣйствительно, ни одна изъ ея задачъ не можетъ быть достигнута колоченіемъ головой о стѣну. Этотъ, хотя и не новый методъ (повторяю, его уже знали, имъ пользовались пророки) для Чехова и его героевъ общается больше, чѣмъ всѣ индукціи и дедукціи (къ слову сказать, тоже не выдуманныя наукой, а существующія съ основанія міра). Онъ подсказываетъ человѣку таинственнымъ инстинктомъ и каждый разъ, когда въ немъ является надобность, онъ является на сцену. А что наука

осуждаетъ его, въ этомъ нѣтъ ничего страннаго. Онъ въ свою очередь осуждаетъ науку.

VIII.

✓ Теперь, можетъ быть, станетъ понятнымъ дальнѣйшее развитіе и направленіе Чеховскаго творчества, и то характерное для него и неповторяющееся у другихъ сочетаніе «трезваго» материализма съ фанатическимъ упорствомъ въ исканіи новыхъ, всегда окольныхъ и проблематическихъ путей. Онъ, какъ Гамлетъ, хочетъ подвести подъ своего противника «подкопъ аршиномъ глубже», чтобы разомъ взорвать на воздухъ и инженера, и его строеніе. Терпѣніе и выдержка его при этой тяжелой, подземной работѣ прямо изумительны и для многихъ невыносимы. Вездѣ тьма, ни одного луча, ни одной искры, а Чеховъ идетъ впередъ медленно, едва-едва подвигаясь. Неопытный, нетерпѣливый взоръ, можетъ быть, совсѣмъ и не замѣтитъ движенія. Да, пожалуй, и самъ Чеховъ не знаетъ навѣрное, подвигается ли онъ впередъ или топчется на одномъ мѣстѣ. Разсчитывать впередъ нельзя. Нельзя даже и надѣяться. Человѣкъ вступилъ въ ту полосу своего существованія, когда разумъ, загадывающій впередъ и ободряющій, отказывается въ своихъ услугахъ. Нѣтъ воз-

возможности составить себѣ ясное и отчетливое представленіе о происходящемъ. Все принимаетъ фантастически безсмысленную окраску. Всему вѣришь и не вѣришь. Въ «Черномъ Монахѣ» Чеховъ рассказываетъ о новой дѣйствительности и такимъ тономъ, какъ будто самъ недоумѣваетъ, гдѣ кончается дѣйствительность и начинается фантасмагорія. Черный монахъ влечетъ молодого ученаго куда-то въ таинственную даль, гдѣ должны осуществиться лучшія мечты человѣчества. Окружающіе люди называютъ монаха галлюцинаціей и борются съ нимъ медицинскими средствами — бромомъ, усиленнымъ питаніемъ, молокомъ. Самъ Ковринъ не знаетъ, кто правъ. Когда онъ бесѣдуетъ съ монахомъ, ему кажется, что правъ монахъ, когда онъ видитъ предъ собою рыдающую жену и серьезныя, встревоженные лица докторовъ, онъ признается, что находится во власти навязчивыхъ идей, ведущихъ его прямымъ путемъ къ помѣшательству. Побѣждаетъ въ концѣ концовъ черный монахъ, Ковринъ не въ силахъ выносить окружающую его обыденность, разрываетъ съ женой и ея родными, которые ему кажутся палачами, и идетъ куда-то, но не приходитъ на нашихъ глазахъ никуда. Подъ конецъ разсказа онъ умираетъ, чтобъ дать автору право поставить точку. Это всегда такъ бываетъ: когда авторъ не знаетъ,

что дѣлать съ героемъ, онъ убиваетъ его. Вѣроятно, рано или поздно этотъ приѣмъ будетъ оставленъ. Вѣроятно, въ будущемъ писатели убѣдятъ себя и публику, что всякаго рода искусственныя закругленія—вещь совершенно ненужная. Истощился матеріалъ—оборви повѣствованіе, хотя бы на полусловѣ. Чеховъ иногда такъ и дѣлалъ—но только иногда. Большею же частью онъ предпочиталъ, во исполненіе традиціонныхъ требованій, давать читателямъ развязку. Этотъ приѣмъ не такъ безразличенъ, какъ можетъ показаться на первый взглядъ, ибо онъ вводитъ въ заблужденіе. Взять хотя бы «Чернаго Монаха». Смерть героя является какъ бы указаніемъ, что всякая ненормальность, по мнѣнію Чехова, ведетъ обязательно черезъ нелѣпую жизнь къ нелѣпой смерти. Межъ тѣмъ едва ли Чеховъ былъ твердо въ этомъ убѣжденъ. Повидимому, онъ чего-то ждалъ отъ ненормальности и оттого удѣлялъ такъ много вниманія выбитымъ изъ колеи людямъ. Къ прочнымъ, опредѣленнымъ заключеніямъ онъ, правда, не пришелъ—несмотря на все напряженіе творчества. Онъ убѣдился, что выхода изъ запутаннаго лабиринта нѣтъ, что лабиринтъ, неопредѣленные блужданія, вѣчныя колебанія и шатанія, безпричинное горе, безпричинныя радости, словомъ, все, чего такъ боятся и избѣгаютъ нормальные люди, стало сущностью

его жизни. Объ этомъ и только объ этомъ нужно рассказывать. Не мы выдумали нормальную жизнь, не мы выдумали ненормальную жизнь. Почему же только первую считаютъ настоящей дѣйствительностью?..

Однимъ изъ самыхъ характерныхъ для Чехова, а потому и замѣчательныхъ его произведеній должна считаться его драма «Чайка». Въ ней съ наибольшей полнотой получило свое выраженіе истинное отношеніе художника къ жизни. Здѣсь всѣ дѣйствующія лица либо слѣпые, боящіеся сдвинуться съ мѣста, чтобъ не потерять дорогу домой, либо полусумасшедшія, рвущіяся и мятущіяся неизвѣстно куда и зачѣмъ. Знаменитая артистка Аркадына словно зубами вцѣпилась въ свои семьдесятъ тысячъ, свою славу и послѣдняго любовника. Тригоринъ—тоже извѣстный писатель, изо дня въ день пишетъ, пишетъ, пишетъ, не зная, для чего и зачѣмъ онъ это дѣлаетъ. Люди читаютъ и хвалятъ его произведенія, и онъ не принадлежитъ себѣ; онъ, какъ перевозчикъ Марко въ сказкѣ, не покладая рукъ работаетъ, переѣзжая и перевозя пассажировъ съ берега на берегъ. И рѣка, и лодка, и пассажиры до смерти надоѣли—но какъ отъ нихъ избавиться? Бросить весла первому встрѣчному — это рѣшеніе такъ просто, но за нимъ, какъ въ сказкѣ, нужно идти на небо. Не только

Тригоринъ, всѣ не слишкомъ молодые люди въ сочиненіяхъ Чехова напоминаютъ перевозчика Марко. Ихъ дѣло имъ явно не нужно, но они, точно загипнотизированные, не могутъ вырваться изъ власти чуждой имъ силы. Однообразный, ровный, унылый ритмъ жизни усыпилъ ихъ сознание и волю. Чеховъ повсюду подчеркиваетъ эту странную и загадочную черту человѣческой жизни. У него люди всегда говорятъ, всегда думаютъ, всегда дѣлаютъ одно и то же. Тотъ строитъ дома по разъ выдуманному шаблону («Моя Жизнь»), другой съ утра до вечера разъѣзжаетъ по визитамъ, собирая рубли («Ионычъ»), третій скупаетъ дома («Три года»). Даже языкъ дѣйствующихъ лицъ умышленно однообразенъ по поговоркѣ—заладила сорока Якова, твердитъ про всякова. Кто неизмѣнно, при случаѣ и безъ случая, твердитъ «недурственно», кто «хамство» и т. д. Всѣ однообразны до одурѣнія и всѣ боятся нарушить это одуряющее однообразіе, точно въ немъ таится источникъ необычайныхъ радостей. Прочтите монологъ Тригорина: «...давайте говорить... Будемъ говорить о моей прекрасной жизни... Ну-съ, съ чего начать? (подумавъ немного). Бываютъ насильственные представленія, когда человѣкъ день и ночь думаетъ, напримѣръ, все о лунѣ, и у меня есть такая своя луна. День и ночь одолѣваетъ меня одна

неотвязчивая мысль: я долженъ писать, я долженъ писать, я долженъ. Едва кончилъ повѣсть, какъ уже почему-то долженъ писать другую, потомъ третью, послѣ третьей четвертую. Пишу непрерывно, какъ на перекладныхъ, и иначе не могу. Что же тутъ прекраснаго и свѣтлаго, я васъ спрашиваю? О, что это за дикая жизнь! Вотъ я съ вами, я волнуюсь, а между тѣмъ каждое мгновенье помню, что меня ждетъ неоконченная повѣсть. Вижу вотъ облако, похожее на рояль. Пахнетъ геліотропомъ. Скорѣй мотаю на усъ: приторный запахъ, вдовій цвѣтъ, упомянуть при описаніи лѣтняго вечера. Ловлю себя и васъ на каждой фразѣ, на каждомъ словѣ и спѣшу скорѣе запереть всѣ эти фразы и слова въ свою литературную кладовую: авось пригодится! Когда кончаю работу, бѣгу въ театръ или удить рыбу; тутъ бы и отдохнуть, забыться — анъ нѣтъ: въ головѣ уже ворочается тяжелое, чугунное ядро—новый сюжетъ, и уже тянетъ къ столу, и надо спѣшить писать и опять писать. И такъ всегда, всегда и нѣтъ мнѣ покоя отъ самого себя и я чувствую, что съѣдаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то, я обираю пыль съ лучшихъ своихъ цвѣтовъ, рву самые цвѣты и топчу ихъ корни. Развѣ я не сумасшедшій? Развѣ мои

близкіе и знакомые держать себя со мной, какъ со здоровымъ? «Что пишете? Чѣмъ насъ подарите?» Одно и то же, одно и то же, и мнѣ кажется, что это вниманіе знакомыхъ, похвалы, восхищеніе, все это обманъ, меня обкрадываютъ, какъ больного, и я иногда боюсь, что вотъ-вотъ подкрадутся ко мнѣ, схватятъ и повезутъ, какъ Поприщина, въ сумасшедшій домъ». Зачѣмъ же все это? Брось весла и начни другую жизнь. Нельзя—пока съ неба не придетъ отвѣтъ, Тригоринъ не броситъ веселъ, не начнетъ новой жизни. О новой жизни у Чехова говорятъ только молодые, очень молодые и неопытные люди. Имъ все грезится счастье, обновленіе, свѣтъ, радости. Они летятъ, очертя голову, на огонь и сгораютъ, какъ сгораютъ неразумныя бабочки. Въ «Чайкѣ» Нина Зарѣчная и Треплевъ, въ другихъ произведеніяхъ другіе герои, женщины и мужчины. Всѣ чего-то ищутъ, къ чему-то стремятся, но всѣ дѣлаютъ не то, что нужно. Всѣ живутъ врозь, каждый цѣликомъ поглощенъ своею жизнью и равнодушенъ къ жизни другихъ. И странная судьба Чеховскихъ героевъ: они напрягаютъ до послѣдней степени возможности свои внутреннія силы, но внѣшнихъ результатовъ не получаютъ никакихъ. Всѣ они жалки. Женщина нюхаетъ табакъ, неряшливо

одѣта, не причесана, неинтересна. Мужчина раздражается, брюзжитъ, пьетъ водку, надоѣдаетъ окружающимъ. Говорятъ нектати, дѣйствуютъ нектати. Приспособить къ себѣ внѣшній міръ не умѣютъ, я готовъ сказать, не хотятъ. Матерія и энергія сочетаются по собственнымъ законамъ — люди живутъ по собственнымъ, какъ будто бы матеріи и энергіи совсѣмъ и не было. Въ этомъ отношеніи Чеховская интеллигенція ничѣмъ не отличается отъ неграмотныхъ мужиковъ и полуграмотныхъ мѣщанъ. Въ усадьбѣ живутъ такъ же, какъ и въ оврагѣ, какъ и въ деревнѣ. Никто не вѣритъ, что, измѣнивъ внѣшнія условія, можно измѣнить и свою судьбу. Вездѣ царитъ, хотя и не сознанное, но глубокое и неискоренимое убѣжденіе, что воля должна быть направлена къ цѣлямъ, ничего общаго съ устроеніемъ человѣчества не имѣющимъ. Хуже — устроеніе кажется врагомъ воли, врагомъ человѣка. Нужно портить, грызть, уничтожать, разрушать. Спокойно обдумывать, предугадывать будущее — нельзя! Нужно колотиться, безъ конца колотиться головой о стѣну. Къ чему это приведетъ? И приведетъ ли къ чему-нибудь? Конечно это или начало? Можно видѣть въ этомъ залогъ новаго, нечеловѣческаго творчества, творчества изъ ничего? «Не знаю», отвѣтилъ ста-

рый профессоръ рыдающей Катѣ. Не знаю,—
отвѣчалъ Чеховъ всѣмъ рыдающимъ и заму-
ченнымъ людямъ. Этими—и только этими сло-
вами можно закончить статью о Чеховѣ. *Résigne-
toi, mon coeur, dors ton sommeil de brute.*✓

Пророческій даръ.

(Къ 25-лѣтію смерти О. М. Достоевскаго).

I.

Владиміръ Соловьевъ называлъ Достоевскаго пророкомъ, даже пророкомъ Божіимъ. Вслѣдъ за Соловьевымъ, часто, впрочемъ, совершенно отъ него независимо, очень многіе смотрѣли на Достоевскаго, какъ на человѣка, предъ которымъ лежали открытыми книги человѣческихъ судебъ. И это не только послѣ его смерти, но даже еще при жизни. Повидимому и самъ Достоевскій, если и не считалъ себя пророкомъ (для этого онъ былъ слишкомъ проницателенъ), то, во всякомъ случаѣ, полагалъ, что всѣмъ людямъ слѣдуетъ видѣть въ немъ пророка. Объ этомъ свидѣлствуетъ и тонъ «дневника писателя», и вопросы, которыхъ онъ тамъ обыкновенно касался. Дневникъ писателя сталъ появляться съ 1873 года, т.-е. по возвращеніи

Достоевскаго изъ-за границы, и, стало быть, совпадаетъ съ тѣмъ періодомъ его жизни, который біографы называютъ «самымъ свѣтлымъ» Достоевскій—счастливый семьянинъ, /обеспеченный человѣкъ, знаменитый писатель, авторъ цѣлаго ряда всѣми замѣченныхъ романовъ — «Записокъ изъ мертваго дома», «Идіота», «Бѣсовъ». Все, что нужно, вѣрнѣе, можно взять отъ жизни—взято. Помните разсужденія Толстого въ «Исповѣди»? Ну, я буду такимъ знаменитымъ, какъ Пушкинъ, Гоголь, Гете, Шекспиръ, наконецъ,—«а что же дальше»? И въ самомъ дѣлѣ трудно стать писателемъ, болѣе знаменитымъ, чѣмъ Шекспиръ — да если бы и удалось, то этимъ неизбѣжный вопросъ — «что же дальше?» — нисколько бы не былъ устраненъ. Въ писательской дѣятельности замѣчательнаго писателя рано или поздно наступаетъ моментъ, когда дальнѣйшее совершенствованіе оказывается невозможнымъ. Какъ быть замѣчательнѣе самого себя на литературномъ поприщѣ? Если хочешь двигаться, приходится волей-неволей переходить въ другую плоскость. Такъ, повидимому, всегда начинается пророчество у писателей. По общему признанію, пророкъ больше, чѣмъ писатель, а отъ общихъ мнѣній геніальность далеко не всегда застраховываетъ. Даже такіе недовѣрчивые люди, какъ Толстой и Достоевскій — люди, готовые

всегда и во всемъ сомнѣваться — не разъ становились жертвами предразсудковъ. Отъ нихъ ждали пророческихъ словъ, и они шли навстрѣчу желаніямъ людей. Достоевскій еще охотнѣе, чѣмъ Толстой. Причемъ оба предсказывали очень неумѣло: они обѣщали одно, а выходило совсѣмъ другое. Толстой, напримѣръ, давно уже обѣщаль, что люди скоро очнутся, бросятъ свою братоубійственную войну и начнутъ жить, какъ слѣдуетъ истиннымъ христіанамъ, исполняя евангельскую заповѣдь любви. Толстой предсказывалъ и проповѣдывалъ, люди читали его, какъ не читали, кажется, ни одного писателя, а старыхъ своихъ привычекъ и вкусовъ не мѣняли. За послѣднее десятилѣтіе Толстому пришлось быть свидѣтелемъ цѣлаго ряда ужасныхъ, ожесточеннѣйшихъ войнъ. А наша теперешняя революція, съ вооруженными возстаніями, висѣлками, разстрѣлами, бомбами, революція, пришедшая на смѣну кровопролитнѣйшей дальневосточной войнѣ!

И это — въ Россіи, въ странѣ, гдѣ родился, жилъ, училъ и предсказывалъ Толстой, гдѣ миллионы людей искренно считаютъ его величайшимъ гениемъ! Даже въ собственной семьѣ Толстой не умѣлъ произвести желательнаго переворота: одинъ сынъ его служитъ офицеромъ, другой пишетъ въ «Новомъ Времени» въ такомъ

тонѣ, точно онѣ сынѣ Суворина, а не Толстого... Гдѣ же пророческій даръ? Отчего такой замѣчательный человѣкъ, какъ Толстой, ничего угадать не умѣетъ, оказывается столь близорукимъ въ жизни? «Что будетъ завтра?»—Завтра я сотворю чудеса, сказалъ волхвъ древнему русскому князю. Въ отвѣтъ князь, вынувъ мечъ, отрубилъ волхву голову, и волновавшаяся толпа, вѣрившая волхву-прорицателю, успокоилась и разошлась. Исторія всегда отсѣкаетъ головы пророческимъ предсказаніямъ, и тѣмъ не менѣе толпа гонится за прорицателями. Маловѣрная, она ищетъ знаменія, ибо ей хочется чуда. Но развѣ способность предсказывать служить доказательствомъ чудотворной силы? Можно предсказать солнечное затменіе, комету, но, вѣдь, это кажется чудомъ только темному человѣку. Просвѣщенный же умъ твердо знаетъ, что тамъ именно, гдѣ возможно предсказаніе, чуда нѣтъ, ибо возможность предсказанія, предугадыванія предполагаетъ строгую закономерность. Слѣдственно, пророкомъ окажется не тотъ, кто наиболѣе одаренъ духовно, не тотъ, кто хочетъ властвовать надъ міромъ и повелѣвать законами. не волхвъ, не кудесникъ, не художникъ, не мятежный геній, а тотъ, кто, впередъ покорившись дѣйствительности и ея законамъ, обрекъ себя на механическій трудъ подсчета и расчета.

Бисмаркъ умѣлъ предсказать величіе Пруссіи и Германіи, да не только Бисмаркъ, а заурядный нѣмецкій политикъ, для котораго все сводится къ «Deutschland, Deutschland über alles», могъ угадать на много лѣтъ впередъ, а вотъ Достоевскій и Толстой ничего угадать не умѣли. У Достоевскаго это еще замѣтнѣе, чѣмъ у Толстого, потому что онъ чаще пытался угадывать: его дневникъ наполовину состоитъ изъ несбывшихся прорицаній. Поэтому же онъ сплошь и рядомъ компрометировалъ свое пророческое дарованіе.

II.

Можетъ быть, кому-либо покажется неумѣстнымъ, что въ статьѣ, посвященной 25-лѣтію смерти писателя, я вспоминаю о его ошибкахъ и заблужденіяхъ. Но такой упрекъ едва ли справедливъ. Извѣстнаго рода недостатки въ замѣчательномъ человѣкѣ не менѣе характерны и важны, чѣмъ его достоинства.

Достоевскій не былъ Бисмаркомъ, да развѣ это такъ уже дурно, развѣ объ этомъ жалѣть приходится? А затѣмъ еще вотъ что: для писателей типа Толстого и Достоевскаго ихъ общественно-политическія идеи не имѣютъ ровно никакого реальнаго значенія. Они знаютъ, что ихъ никто не слушаетъ. Что бы они ни говорили,

все равно исторія и политическая жизнь пойдутъ собственнымъ путемъ, ибо не ихъ книги и статьи направляютъ событія. Вѣроятно, этимъ объясняется ихъ необыкновенная рѣшительность въ сужденіяхъ. Если бы Толстой могъ думать, что достаточно ему потребовать въ статьѣ, чтобы «солдаты, городовые, судьи, министры» и всѣ прочіе, столь ненавистные ему охранители общественнаго спокойствія (да кому, кстати, милы они!) были распущены, чтобы убійцамъ и разбойникамъ были раскрыты двери тюремъ,—кто знаетъ, оказался ли бы онъ достаточно твердымъ и непоколебимымъ въ своихъ убѣжденіяхъ, чтобъ принять на себя всю отвѣтственность за послѣдствія предлагаемыхъ имъ мѣръ. Но онъ знаетъ навѣрное, что его не послушаютъ, и потому спокойно проповѣдуетъ анархію. Достоевскому съ его проповѣдью пришлось сыграть роль совсѣмъ иную, но тоже, такъ сказать, платоническую. Совершенно, вѣроятно, неожиданно для самого себя онъ оказался пѣвцомъ не «идеальной» политики, а тѣхъ реалистическихъ задачъ, которыя поставляли себѣ всегда правительства въ тѣхъ странахъ, гдѣ судьбами народовъ распоряжались немногія личности. Если послушать Достоевскаго, можно подуматъ, что онъ изобрѣтаетъ идеи, которыя правительство должно принять къ руководству и осуществле-

нію. Но немного вниманія, и вы убѣдитесь, что Достоевскій не изобрѣлъ рѣшительно ни одной самобытной политической идеи. Все, что у него было по этой части, онъ, безъ провѣрки даже, заимствовалъ у славянофиловъ, которые въ свою очередь являлись самобытными лишь въ той мѣрѣ, въ какой они безъ посторонней помощи переводили съ нѣмецкаго и французскаго «Russland, Russland über alles» — даже размѣръ стиха не испорченъ замѣной одного слова. Но, что особенно важно, — и славянофилы со своимъ русско-нѣмецкимъ прославленіемъ національности, и вторившій имъ Достоевскій никого изъ имѣющихъ власть ровно ничему не учили и не научили. Наше правительство само знало все, что ему нужно было знать, безъ славянофиловъ и безъ Достоевскаго: еще съ незапамятныхъ временъ шло оно именно тѣмъ путемъ, который такъ страстно воспѣвали его теоретики. Такъ что послѣднимъ ничего больше не оставалось, какъ воздавать хвалу имѣющимъ власть и защищать русскую государственную политику противъ оппозиціонно-настроеннаго общественнаго мнѣнія. Самодержавіе, православіе, народность — все это до такой степени прочно держалось въ Россіи, что въ семидесятыхъ годахъ, когда Достоевскій началъ проповѣдовать, нисколько въ поддержкѣ не нуждалось. Да, вѣдь, и вообще

власть, какъ извѣстно, никогда серьезно не считываетъ на поддержку литературы. Она, между прочимъ, требуетъ, чтобъ и музы приносили ей дань, благородно формулируя свои требованія словами: благословенъ союзъ меча и лиры. Бывало, что музы и не отказывали ей — иногда искренно, иногда потому, что, какъ писалъ Гейне, въ Россіи желѣзные кандалы особенно непріятно носить въ виду большихъ морозовъ. Но, во всякомъ случаѣ, музамъ предоставлялось только воспѣвать мечъ, а отнюдь не направлять его (союзы всякіе бываютъ!), и вотъ Достоевскій, при всей независимости своей натуры, все же оказался въ роли пѣвца русскаго правительства. Т.е. онъ угадывалъ тайныя желанія власти и, затѣмъ, по поводу ихъ вспоминалъ всѣ «прекрасныя и высокія» слова, которыя успѣлъ накопить за свои долготѣнія странствованія. Напримѣръ: правительство жадными глазами глядѣло на Востокъ (тогда еще ближній) — Достоевскій начинаетъ доказывать, что намъ необходимъ Константинополь и пророчествовать, что Константинополь скоро будетъ нашимъ. «Доказательство» Достоевскаго, конечно, чисто «нравственнаго характера», — на то онъ писатель: только изъ Константинополя, говорилъ онъ, можемъ мы провести чисто русскую всечеловѣческую идею. Разумѣется, что

наше правительство, хотя у насъ Бисмарковъ и не было, отлично понимало цѣну нравственнымъ доказательствамъ и основаннымъ на нихъ предсказаніямъ и предпочло бы вмѣсто нихъ имѣть нѣсколько хорошо подготовленныхъ дивизій и усовершенствованныя орудія. Для реальныхъ политиковъ одинъ солдатъ и не то, что пушка, а ружье старой системы, больше значать, чѣмъ самая лучшая философско-нравственная концепція. Но они все же не гонять отъ себя кроткихъ пѣвцовъ, если пѣвцы знаютъ свои шестки. Достоевскій согласился на эту роль, ибо она все-таки давала ему возможность проявлять свой строптивый характеръ въ борьбѣ съ либеральной литературой. Онъ воспѣвалъ, протестовалъ, говорилъ несообразности, даже хуже, чѣмъ несообразности. Напримѣръ, предлагалъ всѣмъ славянскимъ народностямъ объединиться подъ эгидой Россіи, увѣряя, что такимъ только образомъ за ними будетъ обезпечена полная независимость, право культурнаго самоопредѣленія и т. д. Это предъ лицомъ милліоновъ живущихъ въ Россіи славянъ-поляковъ. И еще: «Московскія Вѣдомости» высказали мысль, что хорошо было бы, если бы крымскіе татары эмигрировали въ Турцію, ибо тогда можно было бы заселить крымскій полуостровъ русскими.

Достоевскій съ восторгомъ подхватываетъ

самобытную идею. Дѣйствительно, говоритъ онъ, по политическимъ, государственнымъ и инымъ подобнаго рода соображеніямъ (не знаю, какъ другіе, но когда я слышу изъ устъ Достоевскаго такія слова, какъ «государственный», «политическій» и т. п., мнѣ безудержно хочется хохотать) татаръ необходимо вытѣснить и на ихъ земляхъ поселить русскихъ. Когда «Московскія Вѣдомости» проектируютъ такую мѣру — дѣло понятное. Но Достоевскій! Достоевскій, который называлъ себя христіаниномъ, который такъ горячо проповѣдовалъ любовь къ ближнему, самоуниженіе, самоотреченіе, который «училъ», что Россія должна «служить народамъ» — какъ могла улыбнуться ему такая хищническая мысль?! А между тѣмъ, почти всѣ его политическія идеи отзываются хищничествомъ: захватить, захватить и еще захватить... Соотвѣтственно нуждѣ, онъ то выражаетъ надежду на дружбу Германіи, то грозитъ ей, то доказываетъ, что Англія въ насъ нуждается, то утверждаетъ, что мы и безъ Англіи проживемъ — совсѣмъ, какъ передовикъ изъ благонамѣренной провинціальной газеты. И во всѣхъ этихъ смѣшныхъ и вѣчно противорѣчивыхъ утвержденіяхъ чувствуется лишь одно: Достоевскій въ политикѣ ничего, рѣшительно ничего не понимаетъ и, сверхъ того, ему до политики никакого дѣла нѣтъ. Онъ

принужденъ итти на буксиръ вслѣдъ за другими, ничтожными по сравненію съ нимъ людьми, и ничего, — идетъ. Даже самолюбіе — у него вѣдь было колоссальное, единственное въ своемъ родѣ самолюбіе, какъ и прилично всечеловѣку — при этомъ нисколько не страдаетъ. Главное, что люди ждали отъ него пророчества, что слѣдующій за чиномъ великаго писателя есть чинъ пророка, что убѣжденный тонъ и громкій голосъ есть признаки пророческаго дарованія. Говорить громко Достоевскій умѣлъ, умѣлъ и говорить тономъ человѣка, знающаго тайну, власть имѣющаго: подполье выучиваетъ. Все это пригодилося. Люди приняли придворнаго пѣвца существующаго порядка за вдохновителя думъ, за властителя отдаленнѣйшихъ судебъ Россіи. И съ Достоевскаго этого было достаточно. Достоевскому это даже было необходимо. Онъ зналъ, конечно, что онъ не пророкъ, но онъ зналъ, что пророковъ на землѣ не было, а которые были, не имѣли на это большаго права, чѣмъ онъ.

III.

Позволю себѣ напомнить читателю письмо Л. Н. Толстого къ Л. Л. Толстому, недавно опубликованное послѣднимъ въ газетахъ. Оно представляется очень интереснымъ — опять-таки не съ

точки зрѣнія практическаго человѣка, которому нужно разрѣшить вопросъ дня,—съ этой точки зрѣнія Толстой, Достоевскій и имъ подобные совсѣмъ ни на что не нужны—но вѣдь не о единомъ хлѣбѣ будетъ сытъ человѣкъ.

Даже сейчасъ, въ страшное время, переживаемое нами—если хотите, то сейчасъ, пожалуй, сильнѣе, чѣмъ, когда бы то ни было — нельзя читать только однѣ газеты и думать лишь объ ужасныхъ сюрпризахъ, готовящихся намъ завтрашнимъ днемъ. У каждого между чтеніемъ газетъ и партійныхъ программъ остается часъ досуга, хотя бы не днемъ, когда шумъ событій и текущій трудъ отвлекаютъ, а глубокой ночью, когда все, что можно было—уже сдѣлано, все, что нужно было—уже сказано. Тогда прилетаютъ старыя, спугнутыя «дѣлами» мысли и вопросы. И въ тысячный разъ возвращаешься къ загадкѣ человѣческаго генія, человѣческаго величія. Насколько и въ какихъ областяхъ геній знаетъ и можетъ больше, чѣмъ обыкновенные люди?

И тогда письмо Толстого, которое днемъ возбуждало только негодованіе и раздраженіе—вѣдь въ самомъ дѣлѣ, развѣ не обидно, развѣ не возмутительно, что въ великомъ столкновеніи враждующихъ межъ собой въ Россіи силъ онъ не умѣетъ отличить правой отъ неправой и всѣхъ борющихся клеймитъ общимъ именемъ

безбожниковъ!—кажется инымъ. Днемъ, говорю я, это точно обидно, днемъ хотѣлось бы, чтобъ Толстой былъ съ нами и за насъ, ибо вѣдь мы убѣждены, что мы, только мы одни, ищемъ правды, знаемъ правду, а что враги наши злонамѣренно или по заблужденію защищаютъ зло и неправду. Но это днемъ. Ночью же—дѣло иное. Вспоминаешь, что и Гете просмотрѣлъ, просто не замѣтилъ великой французской революціи. Правда, онъ былъ нѣмцемъ и жилъ далеко отъ Парижа, а Толстой живетъ вблизи Москвы, гдѣ разстрѣливали, рѣзали, сжигали мужчинъ, женщинъ, дѣтей. Какъ же онъ просмотрѣлъ эти ужасы? А онъ несомнѣнно просмотрѣлъ Москву и все, что было до Москвы. Происходяція событія не кажутся ему значительными, выходящими изъ ряда вонъ. Для него значительно только то, къ чему онъ, Толстой, приложилъ руку: все, что внѣ его и помимо его происходитъ, для него не существуетъ. Такова великая прерогатива великихъ людей. И знаете что? Иногда мнѣ кажется—или, можетъ быть, мнѣ только хочется, чтобъ казалось—будто въ этой прерогативѣ есть глубокое, сокровенное значеніе.

Когда нѣтъ силъ слушать дальше безконечныя повѣсти объ ужасныхъ звѣрствахъ, уже совершившихся и предвосхищать воображеніемъ, все, что ждетъ еще насъ впереди—вспоминаешь

Толстого и его равнодушіе. Не въ нашей, чело-
вѣческой, власти вернуть дѣтямъ убитыхъ от-
цовъ и матерей, матерямъ и отцамъ—убитыхъ
дѣтей. Не въ нашей власти даже отомстить убій-
цамъ—да не всякаго мести примирить съ поте-
рей. И пробуешь думать не по логикѣ, пробуешь
искать оправданія ужасамъ, тамъ, гдѣ его нѣтъ
и быть не можетъ. Что, если, спрашиваешь
себя, Толстой и Гете оттого не видѣли револю-
ціи и не болѣли ея муками, что они видѣли
нѣчто иное, можетъ быть, болѣе нужное и
важное? Вѣдь это — люди величайшаго духа!
Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ на небѣ и
землѣ есть вещи, которыя не снились нашей
учености?..

Теперь можно вернуться къ Достоевскому и
его «идеямъ», можно безбоязненно называть ихъ
тѣми именами, которыхъ онѣ заслуживаютъ.
Ибо хотя Достоевскій и геніальный писатель, но
это не значитъ, что мы должны забывать о на-
шихъ насущныхъ нуждахъ. Ночь имѣетъ свои
права, а день—свои. Достоевскій хотѣлъ быть
пророкомъ, хотѣлъ, чтобы его слушали и кри-
чали ему вслѣдъ «Осанна», ибо, повторяю, онѣ
полагалъ, что если когда-либо кому-либо кричали
осанна, то нѣтъ никакого основанія отказывать
ему, Достоевскому, въ этой чести. Вотъ причина,
почему въ 70-хъ годахъ онѣ выступаетъ въ но-

вой роли проповѣдника христіанства и даже не христіанства, а православія.

Обращаю еще разъ вниманіе на то, далеко не случайное, обстоятельство, что проповѣдь со-
впала съ самымъ «свѣтлымъ періодомъ» его
жизни. (Прежній бездомный кочевникъ, бѣднякъ,
не знавшій, гдѣ преклонить голову, обзавелся
семьей, собственнымъ домомъ, даже деньгами
(жена прикапливала). Неудачникъ сталъ знаме-
нитостью. Каторжникъ — полноправнымъ граж-
даниномъ. Подполье, куда еще недавно и на-
всегда, какъ можно было думать, загнала его
судьба, кажется старой фантазмагоріей, никогда
не бывшей дѣйствительностью. Тамъ, въ каторгѣ
и подпольѣ, родилась и долго жила великая
жажда Бога, тамъ была великая борьба, борьба
на жизнь и на смерть, тамъ впервые произво-
дились тѣ новые и страшные опыты, которые
сроднили Достоевскаго со всѣмъ, что есть на
землѣ мятущагося и неспокойнаго. То, что пи-
шетъ Достоевскій въ послѣдніе годы своей жизни
(не только «Дневникъ писателя», но и «Братья
Карамазовы»), имѣетъ цѣнность лишь постольку,
поскольку тамъ отражается прошлое Достоев-
скаго. Новаго дальнѣйшаго шага онъ уже не
сдѣлалъ. Какъ былъ, такъ и остался наканунѣ
великой истины. Но прежде этого было ему
мало, онъ жаждалъ дальнѣйшаго, а теперь онъ

не хочет бороться и не умеетъ объяснить ни себѣ, ни другимъ, что собственно съ нимъ происходитъ. Онъ продолжаетъ симулировать борьбу—да, сверхъ того, онъ какъ будто бы окончательно побѣдилъ и требуетъ, чтобъ побѣда была признана общественнымъ мнѣніемъ. Ему хочется думать, что канунъ уже прошелъ, что наступилъ настоящій день. А каторги и подполья, напоминающихъ, что день не насталъ, уже нѣтъ. На-лицо всѣ данныя для полной иллюзіи побѣды—подбери только слова и проповѣдуй! Достоевскій ухватился за православіе. Почему не за христіанство? Да потому, что христіанство не для того, у кого домъ, семья, достатокъ, слава, отечество. Христосъ говорилъ: все покинь и слѣдуй за мной. А Достоевскій боится уединенія, онъ хочетъ быть пророкомъ для людей, современныхъ, осѣдлыхъ людей, для которыхъ христіанство въ его чистомъ видѣ, неприспособленномъ къ условіямъ культурнаго, государственнаго существованія, не годится. Ну, какъ христіанину брать Константинополь, выселять изъ Крыма татаръ, переводить всѣхъ славянъ на положеніе поляковъ и т. д. и т. д.—всѣхъ проектовъ Достоевскаго и «М. В.» не перечислишь. И вотъ прежде, чѣмъ признать Евангеліе—нужно истолковать его...

Какъ это ни странно, но приходится признать, что въ литературѣ мы не встрѣчаемъ никого,

кто бы принималъ Евангеліе цѣликомъ, безъ истолкованій. Кому нужно брать Константинополь по Евангелію, кому оправдать существующій порядокъ, кому возвысить себя или унижить врага — и каждый считаетъ себя въ правѣ урѣзывать или даже дополнять текстъ Писанія. Разумѣется, здѣсь я имѣю въ виду лишь тѣхъ, кто на словахъ, по крайней мѣрѣ, признаетъ Божественное происхожденіе Новаго Завѣта. Ибо тотъ, кто видитъ въ Евангеліи лишь одну изъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ книгъ своей библиотеки — тотъ, конечно, въ правѣ производить надъ нимъ какія угодно критическія операціи.

Но вотъ вамъ Толстой, Достоевскій, Вл. Соловьевъ. У насъ существуетъ мнѣніе, особенно поддержанное и развитое новѣйшей критикой, что только Толстой рационализировалъ христіанство, Достоевскій же и Соловьевъ принимали его во всей его мистической полнотѣ, не давая разуму права отдѣлять въ Евангеліи истину отъ лжи. Я нахожу это мнѣніе ошибочнымъ. Именно Достоевскій и Соловьевъ боялись признать Евангеліе источникомъ познанія и гораздо болѣе довѣряли собственному разуму и житейскому опыту, чѣмъ словамъ Христа. Если былъ у насъ чело-вѣкъ, который хотя отчасти рискнулъ принять загадочныя и явно опасныя слова евангельскихъ заповѣдей — то это Левъ Толстой. Сейчасъ объяснюсь.

Толстой, говорятъ намъ, пытался въ своихъ заграничныхъ сочиненіяхъ объяснить понятнымъ для человѣческаго ума способомъ евангельскія чудеса. Достоевскій же и Соловьевъ охотно принимали на вѣру необъяснимое. Но обыкновенно евангельскія чудеса привлекаютъ къ себѣ наименѣе вѣрующихъ людей. Ибо повторить чудеса—невозможно, а разъ такъ, то, стало быть, тутъ достаточно наружной вѣры, т.-е. одного словеснаго утвержденія. Говоритъ человѣкъ, что вѣритъ въ чудеса—репутація религіозности сдѣлана, для себя и для другихъ. А для остальной части Евангелія остается «толкованіе». Напримѣръ, о непротивленіи злу. Нечего говорить, что ученіе о непротивленіи злу есть самое страшное, а вмѣстѣ съ тѣмъ самое ирраціональное и загадочное изъ всего, что мы читаемъ въ Евангеліи. Все наше разумное существо возмущается при мысли, что злодѣю оставляется полная матеріальная свобода для совершенія его злодѣйскихъ дѣлъ. Какъ позволить разбойнику на твоихъ глазахъ убить неповиннаго ребенка и не обнажить меча?! Кто въ правѣ, кто могъ заповѣдать такое возмутительное предписаніе? Это повторяетъ и Соловьевъ, и Достоевскій, одинъ въ тайной, другой въ открытой полемикѣ противъ Толстого. И такъ какъ все-таки въ Евангеліи прямо сказано «не противься злему», то оба

они, вѣрующіе въ чудеса, вдругъ вспоминаютъ о разумѣ и обращаются къ его свидѣтельству—зная, что разумъ, конечно, безусловно отвергнетъ какой бы то ни было смыслъ въ заповѣди. Иначе говоря, они повторяютъ о Христѣ слова сомнѣвавшихся евреевъ: кто Онъ такой, что говорить, какъ власть имѣющій? Богъ повелѣлъ Аврааму принести въ жертву своего сына. Авраамъ, хотя его разумъ, человѣческій разумъ, отказывался признать понятный смыслъ въ жестокості приказанія, все-таки приготовился поступить по слову Божію и не пытался хитроумнымъ толкованіемъ снять съ себя тяжелую, нечеловѣческую обязанность. Достоевскій же и Соловьевъ, какъ только требованія Христа не встрѣчаютъ оправданія въ ихъ разумѣ, отказываются исполнять ихъ. А говорятъ, что вѣруютъ и въ воскресеніе Лазаря, и въ излѣченіе паралитиковъ, и во все прочее, о чемъ повѣствуютъ апостолы. Почему же ихъ вѣра оканчивается какъ разъ тамъ, гдѣ она начинаетъ обязывать? Почему вдругъ понадобился разумъ, тогда какъ о Достоевскомъ мы доподлинно знаемъ, что въ свое время онъ затѣмъ именно и пришелъ къ Евангелію, чтобъ освободиться отъ власти разума? Но то было время подполья — а теперь наступилъ свѣтлый періодъ его жизни. Соловьевъ же подполья никогда, видно и не

зналъ. Только Толстой смѣло и рѣшительно пробуетъ испытать не въ мысляхъ только, а отчасти и въ жизни истинность христіанскаго ученія. Безумно не противиться злу съ человѣческой точки зрѣнія—онъ это также хорошо знаетъ, какъ Достоевскій, Соловьевъ и всѣ прочіе многочисленные его оппоненты. Но въ Евангеліи онъ именно ищетъ божественнаго безумія—ибо человѣческій разумъ его не удовлетворяетъ. Толстой сталъ слѣдовать Евангелію въ тотъ совсѣмъ не свѣтлый періодъ своей жизни, когда его преслѣдовали образы Ивана Ильича и Позднышева. Тутъ вѣра въ чудеса, абстрактная, оторванная отъ жизни—ни къ чему. Нужно ради вѣры отдать все, что есть у тебя самага дорогого—сына на закланіе. Кто Онъ такой, что говорилъ, какъ власть имѣющій? Нельзя нынѣ провѣрить, точно ли Онъ воскресилъ Лазаря и насытилъ нѣсколькими хлѣбами тысячную толпу. Но, исполнивъ безъ колебанія Его заповѣди, можно узнать, далъ ли Онъ намъ истину... Такъ было у Толстого и онъ обратился къ Евангелію, единственному и подлинному источнику христіанства. Достоевскій же обратился къ славянофиламъ и ихъ религіозно-государственнымъ ученіямъ. Непремѣнно православіе, а не католичество, не лютеранство и даже не просто христіанство. И затѣмъ—самобытная идея: *Russland, Russland über*

alles. Толстой не умѣлъ ничего предсказать въ исторіи, но вѣдь онъ почти явно и не вмѣшивается въ историческую жизнь. Для него наша дѣйствительность не существуетъ: онъ весь сосредоточился въ загадкѣ, заданной Богомъ Аврааму. Достоевскій же хотѣлъ во что бы то ни стало предсказывать, постоянно предсказывалъ и постоянно ошибался. Константинополя мы не взяли, славянъ не объединили, и даже татары до сихъ поръ живутъ въ Крыму. Онъ пугалъ насъ, что въ Европѣ прольются рѣки крови изъ-за классовой борьбы, а у насъ, благодаря нашей русской всечеловѣческой идеѣ, не только мирно разрѣшатся наши внутренніе вопросы, но еще найдется новое, неслыханное доселѣ слово, которымъ мы спасемъ несчастную Европу. Прошло четверть вѣка. Въ Европѣ пока ничего не случилось. Мы же захлебываемся, буквально захлебываемся въ крови. У насъ душатъ не только инородцевъ, славянъ и неславянъ, у насъ терзаютъ своего же брата несчастнаго, изголодавшагося, ничего не понимающаго русскаго мужика. Въ Москвѣ, въ сердцѣ Россіи, разстрѣливали женщинъ, дѣтей и стариковъ. Гдѣ же русскій всечеловѣкъ, о которомъ пророчествовалъ Достоевскій въ Пушкинской рѣчи? Гдѣ любовь, гдѣ христіанскія заповѣди? Мы видимъ одну «государственность», изъ-за которой боро-

лись и западные народы — но боролись менѣе жестокими и антикультурными средствами. Россіи опять придется учиться у Запада, какъ уже не разъ приходилось учиться... И Достоевскій гораздо лучше сдѣлалъ бы, если бы не пытался пророчествовать.

Впрочемъ, не бѣда, если онъ и пророчествовалъ. Отъ всей души и теперь я радъ, что хоть подъ конецъ жизни отдохнулъ онъ отъ своей каторги. Я глубоко убѣжденъ, что если бы даже до послѣднихъ дней своихъ онъ оставался въ подпольѣ, все равно «разрѣшенія» волновавшихъ его вопросовъ онъ не добился бы. Какъ бы много душевной энергіи ни вложилъ въ свое дѣло человѣкъ, онъ все же останется «наканунъ» истины и не найдетъ нужной ему разгадки. Таковъ человѣческій законъ. А проповѣдь Достоевскаго вреда не принесла. Его слушали тѣ, которые все равно бы шли на Константинополь, душили бы поляковъ и уготовляли бы страданія, столь необходимыя мужицкой душѣ. Если Достоевскій и далъ имъ свою санкцію, то этимъ, въ сущности, ничего имъ не прибавилъ. Они въ литературной санкціи не нуждаются, совершенно правильно разсуждая, что въ практическихъ вопросахъ рѣшающее значеніе имѣютъ не печатные листки, а штыки и пушки...

Все, что было у него рассказать, Достоев-

скій разсказалъ намъ въ своихъ романахъ, которые и теперь, черезъ двадцать пять лѣтъ послѣ его смерти, притягиваютъ къ себѣ всѣхъ тѣхъ, кому нужно выпытывать отъ жизни ея тайны. А чинъ пророка, за которымъ онъ такъ гнался, полагая, что имѣлъ на него право, былъ ему совсѣмъ не къ лицу. Пророками бывають Бисмарки, они же и канцлерами бывають, т.-е. первыми въ деревнѣ, первыми въ Римѣ... Достоевскимъ же суждено вѣчное «наканунѣ»?!

Снова попробуемъ пренебречь логикой, на этотъ разъ, быть можетъ, не только логикой и сказать: да будетъ такъ...



Похвала Глупости.

(По поводу книги Николая Бердяева *Sub specie aeternitatis*).

Den Leib möcht ich noch haben
Den Leib so zart und jung;
Die Seele könnt ihr begraben,
Hab'selber Seele genug.

Н. Heine.

I.

Не въ насмѣшку, какъ это сдѣлалъ въ старину знаменитый Эразмъ Роттердамскій, а искренно и отъ всей души начинаю я свое похвальное слово глупости. И въ этомъ новая книга Бердяева во многомъ поможетъ мнѣ. Онъ могъ бы, еслибъ захотѣлъ, назвать ее, по примѣру своего давно умершаго коллеги, похвалой глупости, ибо задача ея — вызовъ здравому смыслу. Правда, въ ней собраны статьи за шесть лѣтъ, такъ что, собственно говоря, полного единства задачи нѣтъ и быть не можетъ. Шесть лѣтъ

огромный срокъ и даже не только такой писатель, какъ Бердяевъ, но и всякій другой въ большей или меньшей степени измѣняется за столь продолжительное время. Книга начинается давно написанной статьей «Борьба за идеализмъ», въ которой авторъ держится еще строго кантовской точки зрѣнія, какъ извѣстно, допускающей и здравый смыслъ и всѣ сопутствующія ему добродѣтели. Затѣмъ постепенно авторъ эволюционируетъ и въ концѣ книги уже открыто объявляетъ войну здравому смыслу, противопоставляя ему, однако, не Глупость, какъ то дѣлается обыкновенно, а Большой Разумъ. Конечно, можно и такъ выразиться, можно Глупость назвать Большимъ Разумомъ и это, если угодно, имѣетъ свой глубокий смыслъ, точнѣе—глубокую ядовитость. Ибо, что можетъ быть обиднѣй и унижательнѣй для здраваго смысла, чѣмъ присвоеніе Глупости почетнаго титула Большого Разума? Вѣдь до сихъ поръ здравый смыслъ считался отцомъ и ближайшимъ другомъ всякихъ разумовъ, большихъ и малыхъ. Теперь же Бердяевъ, пренебрегая родовыми и исторически сложившейся геральдикой, возводитъ «противоположность здраваго смысла», т.-е. Глупость, въ санъ Большого Разума. Несомнѣнно великая дерзость, но Бердяевъ—писатель дерзкій по преимуществу, и въ этомъ, по моему мнѣнію, его лучшее качество.

Я сказалъ бы, что въ его дерзости—его дарованіе, его философскій и литературный талантъ. Какъ только она покидаетъ его, изсякаетъ источникъ его вдохновенія, ему нечего сказать, онъ перестаетъ быть самимъ собою. Но я забѣжалъ нѣсколько впередъ. Вернемся къ его эволюціи, вѣрнѣе, къ эволюціи его идей.

Я уже указалъ, что Бердяевъ, какъ и всякій думающій человѣкъ, за шесть лѣтъ много разъ мѣнялъ свои убѣжденія или свои идеи. Философскія, конечно. Въ своихъ политическихъ воззрѣніяхъ онъ проявляетъ несравненно бѣльшую устойчивость и постоянство. Онъ былъ и остался демократомъ и даже, кажется, социалистомъ. Это любопытно. Отчего люди гораздо легче мѣняютъ свои философскія убѣжденія, чѣмъ политическія? Такая же сравнительная прочность политическихъ убѣжденій наблюдается и у другихъ писателей, продѣлавшихъ вмѣстѣ съ Бердяевымъ эволюцію отъ марксизма черезъ идеализмъ къ мистицизму и даже къ положительной религіи. Напр., хотя бы Булгаковъ. Если бы онъ проявилъ ту же быстроту въ смѣнѣ политическихъ убѣжденій, быть бы ему теперь либо въ черносотенникахъ, либо въ максималистахъ, т.-е. гдѣ-нибудь на послѣдней окраинѣ политическаго поля. Но онъ, какъ былъ, такъ и остался, вмѣстѣ съ Бердяевымъ, и демократомъ,

и социалистомъ. Правда, онъ уже не благоговѣетъ предъ Марксомъ, — но лишь въ области теоріи. Въ практическихъ вопросахъ онъ остался вѣрнымъ себѣ, такъ что существовавшій въ представленіи публики неразрывный nexus idearum между православіемъ и реакціонерствомъ, долженъ считаться отнынѣ окончательно разорваннымъ ¹⁾. Теперь много, — даже среди молодежи, учениковъ Булгакова, — такихъ, которые вмѣстѣ со своимъ учителемъ пекутся о православной церкви и все-таки не воспѣваютъ ни земскихъ начальниковъ съ розгами, ни военно-полевыхъ судовъ, ни неограниченной власти министровъ. Чѣмъ же объясняется непостоянство философскихъ убѣжденій у людей въ политическомъ отношеніи стойкихъ и непоколебимыхъ? Ясно, что не характеромъ. Ибо нельзя же временно имѣть и стойкій и измѣнчивый характеръ.

Оставляю пока вопросъ безъ отвѣта, но обращаю вниманіе читателя на другую особенность идейнаго развитія Бердяева (тоже и Булгакова).

¹⁾ См. недавно вышедшую книгу Булгакова „Краткій Очеркъ Политической Экономіи“. Въ ней проводится очень либеральная точка зрѣнія, нисколько не уступающая другимъ либеральнымъ точкамъ зрѣнія. Въ обыкновенныхъ политическихъ экономіяхъ гуманные взгляды (о возмутительности крѣпостного права, гаремовъ, ростовщичества, эксплуатаціи рабочихъ и т. д.) обосновываются на морали, у Булгакова — на религіи. Въ этомъ вся разница.

Какъ только онъ покидаетъ какой-либо строй идей ради новаго, онъ уже въ своемъ прежнемъ идейномъ богатствѣ не находитъ ничего достойнаго вниманія. Все — старье, ветошь, ни къ чему не нужное. Напримѣръ, экономическій матеріализмъ. Когда-то (въ своей первой книгѣ) Бердяевъ восторгался имъ, правда, не въ его чистомъ видѣ, а въ соединеніи съ кантіанствомъ, и считалъ, что въ немъ всѣ истины. Теперь онъ уже въ немъ не видитъ ни одной истины. Я и ставлю вопросъ—разрѣшается ли философу такая безумная расточительность? Вѣдь того и гляди, у матеріалистовъ были хоть крупницы истины?! Неужели пренебрегать ими? Или въ послѣдствіи, когда пришлось снова сниматься съ мѣста и покидать старика Канта, Бердяевъ все бросилъ, ничего не подобралъ, словно бы его тяготила всякая поклажа, и налегкѣ помчался къ метафизикѣ, заранѣе увѣренный, что онъ найдетъ у нея и тучныя стада, и огромныя поля, — словомъ, все, что нужно человѣку для пропитанія. Потомъ бросилъ метафизику и ринулся въ глубину религіозныхъ откровеній. На страницахъ «Вопросовъ Жизни» предъ читателемъ развернулась исторія обращенія Бердяева изъ метафизика въ вѣрующаго христіанина. Обращеніе въ особенности поражающее своей порывистостью. Даже для Бердяева слишкомъ скоро.

Онъ сталъ христіаниномъ прежде, чѣмъ выучился четко выговаривать всѣ слова символа вѣры. Метаморфоза, очевидно, произошла за порогомъ сознанія. Въ своей статьѣ «О новомъ религіозномъ сознаніи», въ которой онъ впервые начинаетъ говорить о Христѣ, богочеловѣкѣ, чело-вѣкобогѣ и т. п., онъ обрывается, заикается, словомъ, обнаруживаетъ всѣ признаки того, что попалъ въ чуждую и незнакомую ему область, гдѣ приходится двигаться наугадъ и ощупью. Между прочимъ, слѣдуетъ отмѣтить тотъ любопытный фактъ, что всѣ наши писатели, пришедшіе къ христіанству путемъ эволюціи, никакъ не могутъ научиться по настоящему выговаривать святыя слова. Даже Мережковскій, вотъ уже сколько лѣтъ упражняющійся на богословскія темы, не дошелъ до сихъ поръ до сколько-нибудь значительной виртуозности, несмотря на свое несомнѣнное литературное дарованіе. Настоящаго тона нѣтъ. Въ родѣ того, какъ чело-вѣкъ въ зрѣломъ возрастѣ изучившій новый языкъ. Всегда узнаешь въ немъ иностранца. То же и Булгаковъ. Онъ оригинально рѣшилъ трудную задачу и съ первыхъ же статей сталъ выговаривать слово Христосъ тѣмъ же тономъ, которымъ прежде произносилъ слово Марксъ. И все-таки Булгаковъ, несмотря на все преимущество простоты и естественности манеры

(ибо ее не пришлось мѣнять) не удовлетворяетъ чуткаго слуха. Въ этомъ отношеніи ихъ всѣхъ далеко превосходитъ Розановъ, хотя, какъ извѣстно, онъ въ Христа не вѣритъ и Евангелія не признаетъ. Но онъ съ дѣтства былъ воспитанъ въ правилахъ благочестія, не зналъ увлеченій дарвинизма и марксизма, и сохранилъ себя нетронутымъ. Я думаю, что ни Мережковский, ни Булгаковъ, ни Бердяевъ никогда не сравнятся съ Розановымъ. Булгаковъ, видно, это чувствуетъ и отъ религіозныхъ исканій переходитъ къ вопросамъ церкви, къ церковной политикѣ. Здѣсь, пожалуй, онъ будетъ на своемъ мѣстѣ. Политика, вопросы общественнаго устройства—старое, близкое, родное дѣло.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ многое... Прежде всего, что идейная эволюція, которая въ старину продѣлывалась такъ трудно и съ такой чрезвычайной медленностью, а теперь проходитъ съ такой легкостью и быстротой, вовсе не знаменуетъ собой глубокихъ внутреннихъ измѣненій. Булгаковъ, когда былъ марксистомъ, былъ такимъ же хорошимъ человѣкомъ, какъ и теперь. Бердяевъ кантіанецъ или метафизикъ, Мережковский нитшіанецъ или христіанинъ — съ внутренней стороны разницы нѣтъ. *Cuculus non facit monachum*. И вообще, видно, старики ошибались, когда думали, что философскія идеи нужно такъ

тщательно оберегать отъ ржи и моли и всегда держать въ сухомъ мѣстѣ, чтобъ не испортились. Политическія убѣжденія дѣло другое. Въ политикѣ перемѣнилъ убѣжденія, мѣняй друзей и враговъ: стрѣляй въ тѣхъ, кого вчера защищалъ грудью, и наоборотъ. Тутъ призадумашься. Ну, а перейти отъ кантіанства къ гегеліанству и даже, *horribile dictu*—къ матеріализму, что кому отъ этого сдѣлается? Я даже не вижу никакихъ основаній для человѣка, который хорошо знаетъ нѣсколько философскихъ системъ, непременно эволюционировать отъ одной къ другой. Дозволительно, смотря по обстоятельствамъ, вѣрить то въ одну, то въ другую. Даже въ теченіе дня перемѣнить двѣ-три. Утромъ быть убѣжденнымъ гегеліанцемъ, днемъ держаться прочно Платона, а вечеромъ... бываютъ такіе вечера, что и въ Спинозу увѣруешь: такой неизмѣнной покажется наша *natura naturata*. Трудно только добровольно согласиться, что за добродѣтель не слѣдуетъ никакой награды. Слѣдовало бы, по правдѣ сказать, даже очень бы слѣдовало. Но разъ *Deus sive natura sive substantia* такъ устроенъ, что и самъ не можетъ никакъ измѣнить своей природы — ничего не подѣлаешь, поневолѣ примиришься и постараешься утѣшиться созерцаніемъ *ipsa sub specie aeternitatis*.

II.

Впрочемъ, Бердяевъ, хотя и заимствовалъ заглавіе для своей книги у Спинозы, отнюдь не стоитъ на точкѣ зрѣнія Спинозы, и я тоже сейчасъ, хотя теперь и вечеръ, вѣрнѣе глубокая ночь, менѣе всего расположенъ къ спинозизму. Мы оба сходимся въ одномъ. Мы ненавидимъ всякаго рода *ratio* и противопоставляемъ ему—Бердяевъ—Большой Разумъ, я—Глупость. Аргумента въ защиту своего термина мнѣ можно, кажется, не представлять, и это тѣмъ удобнѣе, что у меня, собственно говоря, и никакихъ особенныхъ аргументовъ нѣтъ. Просто не люблю торжественныхъ словъ въ родѣ Большого Разума, метафизики, сверхчувственности, мистицизма. Если это недостатокъ—то снисходительный читатель, навѣрное, проститъ. Тѣмъ болѣе, что въ настоящей статьѣ за торжественными словами дѣло не станетъ. Бердяевъ, въ противоположность мнѣ, ихъ очень любитъ и въ цитатахъ изъ его книги ихъ найдется не мало. Итакъ, посмотримъ, что можетъ сдѣлать и сказать самъ Бердяевъ во славу Глупости (пишу Глупость съ большой буквы по примѣру Бердяева, который Большой Разумъ такъ пишетъ). Лучшей въ этомъ и во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ статьей его является статья

«К. Леонтьевъ, философъ реакціонной романтики». Леонтьева у насъ даже и по слухамъ не знаютъ, а кто знаетъ, можетъ только два слова сказать о немъ: сотрудникъ «Московскихъ Вѣдомостей» и «Русскаго Вѣстника»—стало быть, реакціонеръ. Между тѣмъ уже по цитатѣ изъ его сочиненій, приведенной Бердяевымъ въ эпиграфъ къ своей статьѣ, сразу видно, что мы имѣемъ дѣло съ личностью незаурядной, замѣчательной. Судите сами. Леонтьевъ говоритъ: «не ужасно ли и не обидно ли было думать, что Моисей всходилъ на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели свои пуническія войны, что геніальный красавецъ Александръ въ пернатомъ какомъ-нибудь шлемѣ переходилъ Граникъ и бился подъ Арабеллами, что апостолы проповѣдовали, мученики страдали, поэты пѣли, живописцы писали и рыцари блистали на турнирахъ для того только, чтобы французскій, нѣмецкій или русскій буржуа въ безобразной и комической своей одеждѣ благоденствовалъ бы индивидуально или коллективно на развалинахъ всего этого прошлаго величія». И еще: «надо подморозить хоть немножко Россію, чтобъ она не гнила». Уже по приведеннымъ словамъ сразу видно, что мы имѣемъ дѣло съ духомъ смѣлымъ, своеобразнымъ, независимымъ. Или еще примѣръ: «именно эстетику-то

приличествуетъ во времена неподвижности быть за движеніе, во времена распушенности за строгость; художнику прилично быть либераломъ при господствѣ рабства, ему слѣдуетъ быть аристократомъ по тенденціи при демагогіи, немножко *libre penseur*омъ («немножко» вѣроятно для цензуры и редактора) при лицемѣрномъ ханжествѣ, набожнымъ при безбожіи». Такого рода откровенность даже въ наше время, когда прежняя внутренняя цензура почти совсѣмъ отмѣнена, не часто встрѣтишь. Самъ Бердяевъ, открывшій для русскаго читателя Леонтьева и съ радостью и уваженіемъ отмѣчающій независимость его мысли, въ концѣ концовъ подвергаетъ его сужденія догматической критикѣ. Преданіе, традиція тяготѣетъ надъ нимъ, и примѣръ Леонтьева, при всей своей соблазнительности, кажется ему слишкомъ рискованнымъ и опаснымъ, благодаря чему какъ въ этой, такъ и въ другихъ статьяхъ подмѣчается у него странная двойственность. Сердцемъ онъ сочувствуетъ Леонтьеву, радуется державной свободѣ его души, гибкости и легкости его мысли, но умъ, вѣрнѣе умы, малый, средній и большой, всѣ возстаютъ противъ бѣднаго сердца со своими категорическими императивами. «Ты не долженъ въ своихъ сужденіяхъ считаться ни съ чѣмъ, кромѣ единой и вѣчной истины», кричатъ они властными голосами, и

Бердяевъ, недавно на минуту насладившійся вмѣстѣ съ Леонтьевымъ прелестью общенія съ легкомысленной, капризной, но изящной и очаровательной Глупостью, послушно возвращается на свое мѣсто и отрекается и отъ себя, и отъ Леонтьева. Чудесно начатая статья кончается проектомъ соглашенія между Глупостью и здравымъ смысломъ, соглашенія, при которомъ всѣ выгоды на сторонѣ послѣдняго. Бердяевъ никакъ не можетъ окончательно повѣрить, что Глупость имѣетъ свои законныя, не подлежащія ни контролю, ни ограниченію права. Она прекрасна, спору нѣтъ, здравый смыслъ до смерти надоѣлъ и скученъ, какъ старая ханжа, но все же повиноваться нужно ему, а Леонтьевъ подлежитъ укрощенію. И всѣ почти статьи Бердяева написаны по тому же плану, что статья о Леонтьевѣ. Синтезъ ли тутъ замѣшанъ (вѣрнѣе всего, что Синтезъ) или что иное — не могу точно сказать. Начинаетъ, обыкновенно, Бердяевъ съ того, что набросится на здравый смыслъ, кричить, бранить его, съ грязью смѣшиваетъ, топаетъ ногами. Бѣдный здравый смыслъ, совершенно не привыкшій къ такому обращенію (мнѣ кажется, что никто изъ нашихъ писателей не имѣетъ такъ свысока и пренебрежительно разговаривать со здравымъ смысломъ, какъ Бердяевъ), дрожитъ, теряется, не знаетъ съ испугу,

что сказать въ свое оправданіе. Онъ не можетъ вынести такого къ себѣ отношенія; до сихъ поръ обыкновенно кричали и топали ногами, когда разговаривали съ Глупостью. Но подѣ конецъ статьи Бердяевъ обязательно смягчается и вновь возвращаетъ здоровому смыслу если не всѣ, то хоть часть исторически признанныхъ за нимъ правъ. Поэтому, его книга можетъ быть интересна и полезна для людей разнообразныхъ вкусовъ. Кому нравится здравый смыслъ, тотъ пусть обращаетъ преимущественное вниманіе на заключительныя страницы статей, кто любитъ Глупость—пусть читаетъ главнымъ образомъ начала: жалѣть не будетъ. Мнѣ, какъ я уже признался, больше по сердцу Глупость. Не то, чтобъ я былъ увѣренъ въ ея окончательной побѣдѣ надъ здравымъ смысломъ. Увѣренности такой у меня нѣтъ. Но вѣдь не возбраняется иногда и идеализировать жизнь, т.-е. вѣрить тому, чего не бываетъ и не вѣрить тому, что бываетъ. Есть даже идеалистическія философскія направленія. Многіе люди постоянно и систематически вѣрятъ въ несуществующее и никогда не вѣрятъ въ дѣйствительность. Я позволяю себѣ иногда роскошь добровольнаго заблужденія и съ истиннымъ наслажденіемъ перечитываю тѣ мѣста книги Бердяева, въ которыхъ приводятся его собственныя или чужія глупости, и вѣрю имъ,

вѣрю, хотя бы они тысячу разъ противорѣчили всякой несомнѣнности и очевидности. Онъ, напри-
мѣръ, говоритъ: «мистическій реализмъ ведетъ не къ статическому догматизму, а къ догма-
тизму динамическому (подчеркнулъ я),
всегда двигающемуся, творческому безъ гра-
ницъ, прозрѣвающему и преображающему. Жи-
вая и реальная мистика всегда должна что-ни-
будь открывать, что-нибудь утверждать, должна
опыты производить и рассказывать объ испы-
танномъ и увидѣнномъ, она догматична во имя
движенія, чтобы движеніе дѣйствительно было,
чтобы въ движеніи что-нибудь происходило».
Т.-е. адогматическій догматизмъ, или догмати-
ческий адогматизмъ, такъ называемое contra-
dictio in adjecto: движущійся покой, деревянное
железо и т. д. Я спрашиваю, какой еще писа-
тель имѣетъ дерзновеніе такъ открыто противо-
рѣчить законамъ логики и такъ мало о логикѣ
(томъ же здоровомъ смыслѣ) заботиться?! И это
уже въ самомъ началѣ книги, въ предисловіи!
Мнѣ только ужасно жаль, что Бердяевъ употре-
бляетъ такъ много незнакомыхъ публикѣ ино-
странныхъ терминовъ. Благодаря этому смыслъ
его рѣчей для большинства теменъ. Пожалуй,
найдется не мало читателей, которые, пробѣ-
жавши приведенныя строки, вовсе и не оцѣнятъ
ихъ по достоинству. Подумаютъ, что это обык-

новенная ученость, трудная для пониманія именно потому, что очень строго придерживается логики и боится согрѣшить предъ закономъ противорѣчія. А теперь не угодно ли отрывокъ изъ послѣсловія: «Никакая наука не можетъ доказать, что въ мірѣ невозможно чудо, что Христосъ не воскресъ, что природа Божества не раскрывается въ мистическомъ опытѣ,—все это просто внѣ науки, у науки нѣтъ словъ, которыя выразили бы не только что-либо положительное въ этой области, но хоть и что-либо отрицательное. Положительная наука можетъ только сказать: по законамъ природы, открываемымъ физикой, химіей, фізіологіей и прочими дисциплинами, Христосъ не могъ воскреснуть, но въ этомъ она только сходится съ религіей, которая тоже говоритъ, что Христосъ воскресъ не по законамъ природы, а преодолѣвъ необходимость, побѣдивъ законъ тлѣнія, что воскресеніе Его есть таинственный мистическій актъ, къ которому мы приобщаемся только въ религіозной жизни». Наука, положимъ, говоритъ не такъ, но до науки намъ сейчасъ дѣла нѣтъ. У Бердяева же получается, что законы природы и существуютъ, и не существуютъ. Ибо чудеса не только возможны, но даже и происходили въ дѣйствительности на глазахъ у людей. Бердяевъ вспоминаетъ только о воскресеніи Христа. А воскрешеніе Лазаря, излѣченіе слѣ-

пыхъ и паралитиковъ, а пятитысячная толпа, насытившаяся двумя хлѣбами и пятью рыбами и т. д.? Все это извѣстно намъ изъ того-же источника, изъ котораго мы знаемъ о воскресеніи Христа. Стало быть, въ свое время нарушение законовъ природы было столь же обыкновеннымъ явленіемъ какъ въ настоящее время ихъ ненарушимость. И, стало быть, либо положеніе науки, что законы природы ненарушимы, вопреки логикѣ, сосуществуетъ съ противоположнымъ положеніемъ, что законы природы могутъ быть нарушаемы, либо оно прямо ложно. Это заключеніе, особенно близкое и дорогое мнѣ, такъ же близко и дорого сердцу Бердяева. Онъ его формулируетъ въ слѣдующихъ словахъ: «быть можетъ, логическіе законы, которые держатъ насъ въ тискахъ, это лишь болѣзнь бытія, дефектъ самаго бытія». Зачѣмъ только «быть можетъ»? Прямо бы догматъ: логическіе законы есть только болѣзнь бытія и отсюда выводъ: такъ какъ логика для насъ необязательна, то, стало быть, законы природы одновременно и существуютъ и не существуютъ. Такъ было бы лучше.

Впервые мысль о томъ, что законы природы и существуютъ и не существуютъ — мысль, проходящая черезъ всю вторую половину книги Бердяева, высказана съ особенной ясностью въ

статьѣ «О новомъ религіозномъ сознаніи», посвященной Мережковскому.

Повидимому самая мысль возникла у него отчасти подѣ влияніемъ Мережковскаго. Повидимому Бердяевъ считаетъ себя многимъ обязаннымъ этому послѣднему и не находитъ нужнымъ скрывать этого обстоятельства. Темы Мережковскаго онъ считаетъ геніальными и усваиваетъ не только темы, но и любимыя слова и выраженія Мережковскаго (Ипостась пишетъ съ прописной ижицы). Бердяевъ говоритъ: «Мережковскій понялъ, что исходъ изъ религіозной двойственности, изъ противоположности двухъ безднъ—неба и земли, духа и плоти, языческой прелести міра и христіанскаго отреченія отъ міра, что исходъ этого не въ одномъ изъ Двухъ, а въ Третьемъ: въ Трехъ. Въ этомъ его огромная заслуга, огромное значеніе для современнаго религіознаго движенія. Мука его, родная намъ мука, въ вѣчной опасности смѣшенія, подмѣны въ двоящемся ликѣ Христа и Антихриста, въ вѣчномъ ужасѣ, что поклонись не Богу Истинному, что отвергнешь одно изъ Лицъ Божества, одну изъ безднъ, не противный Богу, а лишь противоположный, и столь же Божественный полюсъ религіознаго сознанія». Я лично не раздѣляю сужденій ни Мережковскаго, ни Бердяева. Я даже не полагаю, что такъ поставленный вопросъ о небѣ и

землѣ можетъ имѣть большой интересъ. Я нахожу, что Мережковскій, заимствовавшій и постановку вопроса и его разрѣшеніе главнымъ образомъ у Достоевскаго, ложно понялъ этого послѣдняго. Основной человѣческій вопросъ есть отнюдь не вопросъ моральный. Если сочиненія Достоевскаго въ этомъ смыслѣ недостаточно ясны и допускаютъ различныя толкованія, то это лишь потому, что Достоевскій, какъ и всякій человѣкъ новаго слова и новаго дѣла, не умѣлъ и не рѣшался быть всегда только самимъ собой. Онъ пользовался многими старыми словами. И, такъ какъ старое понятнѣе новаго, то за старое и ухватились. Теологія Достоевскаго есть принятое имъ готовое наслѣдіе. Такъ что въ сущности Мережковскій черезъ голову Достоевскаго получилъ богатства, хранившіяся до него въ старинныхъ сокровищницахъ европейской культуры. То же, что принадлежало собственно Достоевскому, было признано Мережковскимъ лишь на минуту—и потомъ предано забвенію. Бердяевъ въ этомъ слѣдуетъ примѣру Мережковскаго. Правда, что Бердяевъ не всегда и не во всемъ соглашается съ Мережковскимъ, часто споритъ съ нимъ и иногда даже посылаетъ ему несправедливые упреки. Напримѣръ, онъ говоритъ: «у него (у Мережковскаго) часто не хватаетъ художественнаго дара для творчества образовъ и мыслительнаго

дара для творчества философскихъ концепцій». Если я правильно понимаю Бердяева, то въ этихъ словахъ онъ высказываетъ общераспространенное мнѣніе о Мережковскомъ. Всѣ говорятъ о Мережковскомъ (о Минскомъ тоже), что онъ холодный головной писатель. Т.-е. всѣмъ бы хотѣлось, чтобъ Мережковскій и Минскій, прежде чѣмъ говорить о крестныхъ страданіяхъ, пови-сѣли бы съ часикъ сами на крестахъ. Иначе будто бы нельзя довѣрять ихъ освѣдомленности. Какая дикость, некультурность! Изъ-за новаго образа; изъ-за новой концепціи добровольно на крестъ идти! И Бердяевъ, свой же братъ писатель повторяетъ такія вещи!

Это я, впрочемъ, только къ слову замѣтилъ, тѣмъ болѣе, что все равно ни Мережковскій, ни Минскій не поддадутся соблазну. Ибо знаютъ, что если уже выбирать, то лучше, чтобъ страдали книги, чѣмъ ихъ авторы. И, затѣмъ, все, что нужно узнать для составленій философскихъ концепцій, можно добыть болѣе простымъ и менѣе рискованнымъ путемъ. Самъ же Бердяевъ пишетъ про Мережковского: «онъ видѣлъ жизнь, смыслъ ея въ греческой трагедіи, въ смерти боговъ языческихъ и рожденіи Бога христіанскаго, въ эпохѣ возрожденія съ ея великимъ искусствомъ, въ воскресеніи древнихъ боговъ, въ таинственныхъ индивидуальностяхъ Юліана

Отступника и Леонардо-да Винчи, въ Петрѣ Великомъ, Пушкинѣ, Л. Толстомъ и Достоевскомъ. Это романтическая черта въ Мережковскомъ — отвращеніе къ мелкимъ масштабамъ современности и благоговѣйное уваженіе къ большимъ масштабамъ мірового прошлаго. Мережковский переживалъ опыты былыхъ великихъ временъ, хотѣлъ разгадать какую-то тайну, заглянувъ въ душу такихъ огромныхъ людей, какъ Юліанъ, Леонардо и Петръ, такъ какъ тайна ихъ казалась ему вселенской». Все это вѣрно, Мережковский дѣйствительно очень начитанный чел. ѣкъ и вложилъ много труда и усилій въ свое дѣло, а все-таки вопросъ о Духѣ и Плоти, о Небѣ и Землѣ, въ томъ видѣ, какъ его поставилъ и разрѣшилъ Мережковский, вовсе не есть столь кардинальный вопросъ. Не было нужды дѣлать столь огромное напряженіе, писать и читать такъ много книгъ, чтобъ доказать святость Плоти и Духа, Неба и Земли. Ибо даже послѣ того, какъ удалось доказать въ такой степени, въ какой это, по мнѣнію Бердяева, удалось Мережковскому — главный-то, основной вопросъ остается все же открытымъ. И духъ святъ, и плоть свята, — но гдѣ же ручательство, что освященное нами свято также и предъ лицомъ вѣчности? А что, если тотъ же Спиноза, который всю жизнь искалъ вѣчности, правъ и *Deus sive natura sive substan-* ✓

tia, не знающій ни добра, ни зла, ни радостей, ни страданія, ни святости, ни порочности, словомъ, стоящій внѣ человѣческихъ цѣлей — если онъ, такой богъ, былъ началомъ и источникомъ жизни? И если созерцать жизнь *sub specie aeternitatis* значитъ видѣть въ ней то, что видѣлъ блѣдный голландскій отшельникъ? У Достоевскаго на эту тему много рассказано.

III.

Такого вопроса Бердяевъ никогда себѣ не ставилъ и ставить не хочетъ. Основная его предпосылка (и даже не предпосылка, а нѣчто гораздо болѣе прочное, какъ увидимъ ниже), исходное предположеніе: то, что ему нужно, онъ всегда найдетъ. Много онъ рассказываетъ о своихъ сомнѣніяхъ и о томъ, какъ онъ преодолевалъ ихъ. Но вся книга его говоритъ о томъ, что его сомнѣнія никогда не могли сдвинуть съ мѣста заложеннаго въ глубинѣ его души гранита вѣры. Онъ сомнѣвался въ томъ, кто правъ Фихте или Гегель, Кантъ или Марксъ, Михайловскій или Мережковский, но онъ всегда былъ убѣжденъ, что на чьей бы сторонѣ ни оказалась правота, она все же будетъ имѣть успокоительный, отвѣчающій человѣческимъ желаніямъ характеръ. Въ этомъ отношеніи онъ сохранилъ старыя традиціи русской

литературы. Въ своей статьѣ: «Н. К. Михайловскій и Б. Н. Чичеринъ» онъ пишетъ: «со смертью Михайловскаго какъ бы сошла со сцены цѣлая эпоха въ исторіи нашей интеллигенціи, оторвалась отъ насъ дорогая по воспоминаніямъ частица нашего существа, нашей интеллигентской природы. И каждый русскій интеллигентъ долженъ живо чувствовать эту смерть и долженъ задуматься на могилѣ Н. К. надъ своимъ историческимъ прошлымъ и надъ своими обязанностями предъ будущимъ. Когда-то въ дни ранней юности всѣ мы зачитывались Михайловскимъ, онъ будилъ нашу юную мысль, ставилъ вопросы, давалъ направление нашей проснувшейся жаждѣ общественной правды. Потомъ мы ушли отъ нашего первоначальнаго учителя, переросли его, но бьемся и до сихъ поръ надъ поставленными имъ проблемами, такъ тѣсно сближавшими философію и жизнь. Это очень характерно: Михайловскій никогда не былъ философомъ по способу рѣшенія различныхъ вопросовъ и по недостатку философской эрудиции, но беспокоили его всю жизнь именно философскіе вопросы и у порога его сознанія уже поднимался бунтъ противъ ограниченности позитивизма. Въ этомъ онъ былъ типическимъ русскимъ интеллигентомъ, полнымъ философскихъ настроеній, но лишеннымъ философской школы и связаннымъ предразсудками

позитивизма. Мы любили и любимъ Михайловскаго за ту духовную жажду, которая такъ рѣзко отличаетъ русскую интеллигенцію отъ мѣщанства интеллигенціи европейской». Я думаю, что духовная связь и родство съ Михайловскимъ какъ Бердяева, такъ и другихъ современныхъ русскихъ писателей (всей той группы, которая дала тонъ и направленіе «Проблемамъ Идеализма» и «Вопросамъ жизни») гораздо тѣснѣе и прочнѣе. Михайловскій не зналъ нѣмецкій философіи и смѣшивалъ трансцендентное съ трансцендентальнымъ. Михайловскій не любилъ метафизики. Это, конечно, такъ. Но, вѣдь это, право, дѣло вкуса и при другихъ обстоятельствахъ поколѣнію 90-хъ годовъ вовсе не было бы и надобности ополчаться противъ стараго учителя. И, пожалуй слова «мы переросли его» менѣе всего подходятъ. Именно возрастомъ-то молодые писатели не старше Михайловскаго. Они приобщились европейской культурѣ, читаютъ Платона, интересуются Леонардо-да-Винчи, Боттичелли, заглядываютъ въ священное писаніе, но молодостью, молодой вѣрой запечатлѣны всѣ ихъ дѣла и помыслы. Вотъ этотъ гранитъ, который не могутъ сдвинуть съ мѣста никакія бури и сомнѣнія — онъ былъ у Михайловскаго, онъ есть и въ Бердяевѣ и во всѣхъ его товарищахъ по литературѣ. Если бы Бердяевъ хотѣлъ со всей полнотой выразить

смыслъ и значеніе своей духовной близости съ Михайловскимъ, ему бы слѣдовало процитировать знаменитый отрывокъ изъ предисловія къ полному собранію сочиненій Михайловскаго. Хотя онъ всѣмъ извѣстенъ, но я привожу его цѣликомъ для характеристики не Михайловскаго, а Бердяева. «Всякій разъ, какъ мнѣ приходитъ въ голову слово «правда», я не могу не восхищаться его поразительной внутренней красотой. Такого слова нѣтъ, кажется, ни въ одномъ европейскомъ языкѣ. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются однимъ и тѣмъ же словомъ и какъ бы сливаются въ одно великое цѣлое. Правда въ этомъ огромномъ смыслѣ слова всегда составляла цѣль моихъ исканій... Я никогда не могъ повѣрить, чтобы нельзя было найти такую точку зрѣнія, въ которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука объ руку, одна другую пополняя». Правда-истина живетъ въ мирѣ и согласіи съ правдой-справедливостью, иначе говоря, существуетъ нравственный міропорядокъ, вполне соответствующій человѣческимъ понятіямъ о должномъ и не должномъ, желательномъ и нежелательномъ. При томъ Бердяевъ, какъ и Михайловскій, какъ и предшественники Михайловскаго въ русской литературѣ, не удовлетворяются позиціей идеалистовъ. Идеалисты изъ нѣмцевъ, какъ извѣстно, утвердивъ понятіе о долж-

номъ, складываютъ руки. Имъ все равно уже затѣмъ, осуществляется ли въ мірѣ это должное, или остается жить только въ ихъ головахъ. Михайловскій, а за нимъ Бердяевъ такого рода отвлеченностью не удовлетворяются. Имъ подавай должное, которое осуществляется, если не сейчасъ на глазахъ и не здѣсь на землѣ, то хоть позже и подальше, но непременно осуществляется. Не нѣмцы же мы въ самомъ дѣлѣ какіе-нибудь. Пусть попытается кто-нибудь хоть на минуту, хоть въ видѣ предположенія вырвать у Михайловскаго или Бердяева допущеніе, что объективная истина сама по себѣ, а справедливость — сама по себѣ. Впередъ говорю: даромъ время потратитъ. Поэтому я продолжаю настаивать, что Бердяевъ, какъ и Мережковскій, и Булгаковъ только по недоразумѣнію считаютъ себя продолжателями дѣла Достоевскаго. Когда Достоевскій висѣлъ на крестѣ, онъ усомнился во всемъ и до конца усомнился. Его книги выиграли отъ этого въ напряженности—но его «философская концепція» потеряла всю сладость, свойственную такъ называемому синтезу. Разумѣется, изъ того что Достоевскій подъ пыткой отрекся отъ сладости, нисколько не слѣдуетъ, что Бердяеву, Мережковскому или Булгакову полагается пить уксусъ, смѣшанный съ желчью. Я хотѣлъ только установить фактъ, что никогда еще сомнѣнію не уда-

лось подкопаться подъ непоколебимый гранить вѣры Бердяева въ торжество добра и что въ этомъ отношеніи онъ не уступаетъ Михайловскому и имѣетъ всѣ преимущества предъ Достоевскимъ, не выдержавшимъ испытанія. И это не психологическая догадка, а фактъ. Откуда я его добылъ — не скажу, но, чтобъ успокоить скептическаго читателя, сообщу, что добылъ его отнюдь не путемъ мистическаго откровенія, а общепризнаннымъ эмпирическимъ путемъ.

При всемъ томъ, Бердяевъ все-таки имѣетъ (уже въ противоположность Михайловскому) вкусъ къ Глупости, и это обстоятельство кажется мнѣ чрезвычайно отраднымъ. Если даже такіе прочные, гранитные люди пресытились здравымъ смысломъ и хоть для развлечения начинаютъ искать общества Глупости—значить можно еще кой на что надѣяться. Правда, основаніе не гранитное. Но по нынѣшнимъ временамъ и того будетъ достаточно.

IV.

Du choc des opinions jaillit la vérité говорятъ французы. Я этого не думаю. По мнѣ, мнѣнія могутъ себѣ сталкиваться сколько имъ угодно, этимъ истины не выманишь. Она слишкомъ умна и отнюдь не высказываетъ при всякомъ

шумѣ: ее и болѣе тонкими ухищреніями не поймашь. Обычное послѣдствіе столкновенія мнѣній—столкновеніе людей. Но все-таки, такъ какъ въ книгѣ Бердяева, о которой я пишу, помѣщена статья «Трагедія и обыденность», посвященная мнѣ, то я считаю себя обязаннымъ отвѣтить на представленныя имъ возраженія. Мнѣ въ сущности не столько даже возражать придется, сколько выяснять недоразумѣнія. Бердяевъ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ со мной соглашается, приводитъ обыкновенно мои слова и подкрѣпляетъ ихъ собственными соображеніями. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда онъ хочетъ спорить, онъ уже не цитируетъ меня и даже не возражаетъ собственно мнѣ, а возстаетъ противъ тѣхъ или иныхъ философскихъ воззрѣній, къ послѣдователямъ которыхъ онъ меня причисляетъ — по причинамъ мнѣ рѣшительно неизвѣстнымъ. По поводу моей книги «Апоѳеозъ безпочвенности» онъ причисляетъ меня къ скептикамъ, за «философію трагедіи» къ пессимистамъ, и затѣмъ начинаетъ доказывать несостоятельность скептицизма и пессимизма. Между прочимъ и другіе критики приписываютъ мнѣ тѣ же грѣхи. Хочу воспользоваться случаемъ и заявить (спорить, вѣдь, тутъ не приходится), что когда я впервые услышалъ, что меня окрестили скептикомъ и пессимистомъ, я просто протиралъ

глаза отъ удивленія. Правда, я не выражаю солидарности съ существующими философскими системами и смѣюсь надъ ихъ самоувѣренной торжественностью побѣдителей. Но, господа, развѣ это значитъ быть скептикомъ? Правда и то, что я не считаю нашъ міръ самымъ лучшимъ изъ возможныхъ міровъ. Мнѣ, дѣйствительно, кажется, что онъ могъ быть лучшимъ. Т.-ѐ. собственно говоря, внѣшній міръ мнѣ очень нравится. Я люблю и день, и раннее утро, и сумерки, и глубокую ночь. Чудесны высокія, снѣжныя горы и зеленыя долины. А какъ хороши безлюдныя, каменистыя пустыни въ Альпахъ! Даже зимняя мятель и безконечный осенній дождь имѣютъ свою прелесть!.. Словомъ, во внѣшнемъ мірѣ мнѣ все или почти все нравится (сейчасъ вотъ даже не могу припомнить, что въ немъ есть дурного). Только человѣка обидѣла природа. Ему бы слѣдовало быть умнѣй, красивѣй, добрѣе, даровитѣй, богаче... Неужели желать этого значитъ рисковать, что тебѣ припьютъ ярлыкъ пессимиста?! Или, ежели не увѣруешь ни въ одну изъ существующихъ великихъ философскихъ системъ, то попадешь въ скептики? Вѣдь изъ того, что до сихъ поръ истина не открыта, никакъ не слѣдуетъ, что ее никогда не откроютъ. И тѣмъ менѣе, что истины совсѣмъ нѣтъ. Или тотъ человѣкъ, который ждетъ

истины и не называетъ истиной первое встрѣчное заблужденіе, есть скептикъ? Я склоненъ думать обратное. По мнѣ, именно скептики, люди въ глубинѣ души убѣжденные въ томъ, что нечего искать, ибо все равно ничего не найдешь, такіе-то люди охотнѣе всего фанатически поддерживаютъ однажды усвоенную систему. Затѣмъ, если Бердяеву дозволено каждые полгода мѣнять убѣжденіе и, если, судя по приведенному выше опредѣленію подвижнаго догматизма, онъ собирается начать ихъ мѣнять каждые полмѣсяца, то почему мнѣ ихъ не мѣнять еще чаще? Это уже, такъ сказать, дѣло темперамента. Бердяевъ скоръ, а я еще скорѣе. Онъ уже во многія философіи вѣрилъ, а я уже вѣрилъ во всѣ и такъ привыкъ мѣнять ихъ, что теперь, какъ я уже говорилъ, иной разъ за одинъ день сколько ихъ перемѣнишь! Это не скептицизмъ, а подвижной, адогматическій догматизмъ. Какъ видитъ читатель, выраженіе пришлось мнѣ по вкусу. Прежде я говорилъ просто догматизмъ, теперь всегда буду говорить адогматическій догматизмъ. Въ погонѣ за другими глупостями я эту просмотрѣлъ. Спасибо Бердяеву. Уже не забуду.

Второе — Бердяевъ, возражая мнѣ, ловитъ меня на словѣ: «на этомъ мѣстѣ, говоритъ онъ, я ловлю автора «Апоѳеоза». Что такое свободная мысль, что такое мысль? Это уже нѣкото-

рая предпосылка, вѣдь всякая мысль есть уже результатъ переработки переживаній, опыта тѣмъ убійственнымъ инструментомъ, который мы называемъ разумомъ, въ ней уже обязательно есть послѣдовательность». Что правда — то правда. Поймалъ. Только зачѣмъ ловить было? И развѣ такъ книги читаютъ? По прочтеніи книги нужно забыть не только всѣ слова, но и всѣ мысли автора, и только помнить его лицо. Вѣдь слова и мысли только несовершенныя средства общенія. Нельзя душу ни сфотографировать, ни нарисовать, ну, и обращается къ слову. Давно извѣстно, что мысль изреченная есть — ложь. А Бердяевъ ловить меня. Вмѣсто того, чтобы по человѣчеству, сознавая, какъ невозможно найти адекватныя выраженія, придти мнѣ на помощь и догадаться, онъ мнѣ въ колеса палку вставляетъ. Совсѣмъ не по-товарищески.

Этимъ, кажется, исчерпываются всѣ возраженія Бердяева. Т.-е., по правдѣ сказать, есть у него еще одно, хотя мимоходомъ сдѣланное, но очень существенное и важное. Его я однако касаться не буду, такъ какъ не умѣю на него отвѣтить, а признаться въ этомъ не хочу. Пусть ужъ лучше никто ничего не знаетъ.

Въ заключеніе отъ всей душѣ привѣтствую книгу Бердяева и воспѣтую въ ней Глупость. Бердяевъ несомнѣнно человѣкъ очень дарови-

тый и въ нашей литературѣ найдутся немногіе, которые владѣли бы его искусствомъ опорачивать здравый смыслъ и возвеличивать Глупость. Одно только нехорошо. Бердяевъ часто повторяетъ общепринятая, распространенныя, привычныя, такъ сказать, глупости. Это, по моему, безцѣльно. Вѣдь привычныя глупости какъ двѣ капли воды похожи на умныя вещи. Такъ стоитъ ли съ ними возиться? Всегда слѣдуетъ стараться выдумывать совершенно новыя глупости, а, если это не удастся, то откапывать хоть и бывшія въ употребленіи, но мало кому извѣстныя или забытыя, словомъ непривычныя. Воспѣть, напримѣръ, Одина, рыжебородаго Тора, нашего Перуна или хотя бы Магомета! Вотъ какъ Гете послѣ поѣздки въ Константинополь. Шлегель говорилъ про него, что онъ изъ язычества обратился въ магометанство.

Еще одно замѣчаніе. Въ послѣсловіи своемъ Бердяевъ черезчуръ уже поноситъ эмпирическій міръ. Называетъ его коростой. Въ увлеченіи спора часто случается съ человѣкомъ то же, что случилось съ двумя дѣвицами, игравшими въ шахматы. Забрали одна у другой королей и продолжали играть дальше. Нападая на позитивистовъ, Бердяевъ отказался отъ эмпирическаго міра. Неужели все о душѣ, да о душѣ хлопотать?! А тѣло? Не знаю, заразилъ ли меня

Леонтьевъ духомъ противорѣчія, но мнѣ хочется
сказать вмѣстѣ съ Гейне: die Seele könnt ihr
begraben, hab' selber Seele genug.



Предпослѣднія слова.

I.

De omnibus dubitandum. Теперь уже среди философовъ осталось мало правовѣрныхъ гегеліанцевъ, но Гегель все еще продолжаетъ владѣть умами нашихъ современниковъ. Нѣкоторыя идеи его теперь, пожалуй, пустили болѣе глубокіе корни, чѣмъ въ эпоху расцвѣта гегеліанства. Напримѣръ мысль, что исторія есть раскрытіе идеи въ дѣйствительности или выражаясь кратко и въ терминахъ, болѣе близкихъ современному уму, идея прогресса. Попробуйте переубѣдить въ этомъ пунктѣ образованнаго человѣка: навѣрное потерпите поражение. Но — *de omnibus dubitandum* — иначе говоря, въ тѣхъ случаяхъ, когда убѣжденіе особенно крѣпко и непоколебимо, сомнѣніе и призвано исполнить великую свою миссію. А потому, хочешь не хочешь, приходится сдѣлать допущеніе, что такъ называемый

прогрессъ, т.-е. развитіе человѣчества во времени—есть фикція. Хотя у насъ есть беспроволочный телеграфъ, радій и все прочее, но все же мы стоимъ не выше древнихъ римлянъ или грековъ. Допускаете? Въ такомъ случаѣ еще одинъ шагъ: хотя у насъ есть беспроволочный телеграфъ и всѣ прочія блага цивилизаціи, а все же мы стоимъ не выше краснокожихъ и чернокожихъ дикарей. Вы протестуете—но принципъ обязываетъ: начали сомнѣваться, такъ уже нечего пятиться.

Въ свой чередъ я долженъ признаться, что мысль о духовномъ совершенствѣ дикарей явилась у меня, когда недавно, впервые послѣ многихъ лѣтъ, я случайно пересматривалъ сочиненія Тайлора, Леббока и Спенсера. Они до такой степени увѣренно говорятъ о преимуществахъ нашей душевной организаціи и такъ искренно презираютъ нравственное убожество дикарей, что я поневолѣ подумалъ: не кроется ли именно здѣсь, гдѣ всѣ такъ увѣрены, что никто никогда не провѣряетъ, источникъ заблужденія? *Es ist höchste Zeit* вспомнить Декарта и его правило! И какъ только я началъ сомнѣваться—вся моя прежняя увѣренность (вѣдь я, конечно, всецѣло раздѣлялъ мнѣніе англійскихъ антропологовъ) была такова... Мнѣ стало казаться, что дикари въ самомъ дѣлѣ выше и значительнѣе нашихъ

ученыхъ и не только матеріалистовъ, какъ думаетъ проф. Паульсенъ, но также идеалистовъ, метафизиковъ, мистиковъ и даже вѣрующихъ миссіонеровъ (искренно вѣрующихъ, а не искателей наживы и приключеній), которыхъ Европа высылаетъ въ другія части свѣта для просвѣщенія отсталыхъ братьевъ. Мнѣ показалось, что обычныя у дикарей долговыя сдѣлки съ условіемъ оплаты ихъ въ загробномъ мірѣ имѣютъ глубочайшій смыслъ. Я уже не говорю о чело-вѣческихъ жертвоприношеніяхъ! Спенсеръ видитъ въ этомъ варварство, какъ и полагается образованному европейцу. Я тоже вижу варварство, ибо я тоже европеецъ и тоже учился наукамъ. Но я глубоко завидую ихъ варварству и проклинаю свою культурность, загнавшую меня вмѣстѣ съ вѣрующими миссіонерами, философами идеалистами, позитивистами и матеріалистами, въ тѣсныя предѣлы душнаго и постылаго постигаемаго міра. Мы можемъ писать книги о безсмертіи души, но наши жены не пойдутъ за нами въ иной міръ, а предпочтутъ владѣть свою вдовью долю здѣсь на землѣ. Наша нравственность, основанная на религіи, запрещаетъ намъ торопиться къ вѣчности. И такъ во всемъ. Мы предполагаемъ, въ лучшемъ случаѣ по маниловски мечтаемъ, но жизнь наша протекаетъ внѣ нашихъ предположеній и ме-

чтаній. Кой-кто принимаетъ еще церковныя обязанности — какъ бы они ни были странны, и серьезно воображаетъ, что такимъ способомъ онъ соприкасается мірамъ инымъ. Дальше обрядностей никто ни шагу. Кантъ умеръ 80 лѣтъ отъ роду, если бы не холера, Гегель прожилъ бы сто лѣтъ, а у дикарей—у дикарей молодые убиваютъ стариковъ и... не договариваю, чтобъ не оскорблять слуха чувствительныхъ людей. Снова напоминаю Декарта и его правило и спрашиваю: кто правъ, дикари или мы? И если правы дикари, то есть ли исторія раскрытіе идеи? И прогрессъ во времени (т.-е. развитіе отъ прошлаго къ настоящему и будущему) не есть ли чистѣйшее заблужденіе? Можетъ быть, и даже вѣроятнѣе всего, и есть развитіе, но направленіе этого развитія есть линія перпендикулярная къ линіи времени. Основаніемъ же перпендикуляра можетъ быть любая человѣческая личность. Да проститъ мнѣ Богъ и читатель неясность послѣднихъ словъ. Надѣюсь, что она въ нѣкоторой степени искупается ясностью предыдущаго изложенія.

II.

Самоотреченіе и *mania grandiosa*. Нужно думать, что ничего вѣрнаго ни о самоотреченіи, ни о маніи величія сказать не удастся, хотя

каждый изъ насъ по собственному опыту знаетъ кой что и о первомъ, и о второй. Но, какъ извѣстно, невозможность разрѣшить вопросъ никогда еще не удерживала людей отъ размышлений. Скорѣе наоборотъ: наиболѣе заманчивые для насъ вопросы это тѣ, на которые нѣтъ настоящаго, обязательнаго для всѣхъ отвѣта. Я надѣюсь, что рано или поздно философія получитъ, въ противоположность наукѣ, такое опредѣленіе: философія есть ученіе о ни для кого не обязательныхъ истинахъ. Этимъ разъ навсегда будетъ устраненъ столь часто посылаемый ей упрекъ, что собственно философія сводится къ ряду взаимно опровергающихъ мнѣній. Это — вѣрно, но за это ее хвалить, а не упрекать надо, въ этомъ нѣтъ ничего дурнаго, въ этомъ есть много, очень много хорошаго. А вотъ, что у науки есть общеобязательныя сужденія — это дурно, мучительно дурно. Вѣдь всякая обязательность только стѣсненіе. Временно можно согласиться на стѣсненіе, надѣть корсетъ, вериги, временно можно на что угодно согласиться. Но кто добровольно признаетъ надъ собой вѣчный законъ? Даже у спокойнаго и яснаго Спинозы мнѣ слышится порой глубокій вздохъ. И я думаю, что это онъ вздыхаетъ по свободѣ — онъ, растратившій всю свою жизнь, весь свой геній на прославленіе необходимости... Послѣ

такого предисловія можно уже говорить что угодно.

Мнѣ кажется, что и самоотреченіе, и *mania grandiosa*, какъ, повидимому, мало они ни похожи другъ на друга, могутъ быть наблюдаемы послѣдовательно, даже одновременно въ одномъ и томъ же человѣкѣ. Аскетъ, отказавшійся отъ жизни, смиряющійся предъ всѣми и сумасшедшій (вродѣ Ницше или Достоевскаго), утверждающій, что онъ есть свѣточъ, соль земли, первый во всемъ мірѣ или даже во всей вселенной, и тотъ, и другой приходятъ къ своему безумію (надѣюсь, нѣтъ надобности доказывать, что самоотреченіе, какъ и манія величія, есть видъ безумія) при условіяхъ, большей частью тождественныхъ. Міръ не удовлетворяетъ человѣка, и онъ начинаетъ искать лучшаго. Всякія же серьезныя исканія приводятъ человѣка на одинокіе пути, а одинокіе пути, какъ извѣстно, кончаются китайской стѣной, роковымъ образомъ полагающей предѣлъ человѣческой пытливости. И вотъ возникаетъ задача: воспротивиться року и такъ или иначе перебраться черезъ стѣну, преодолѣвъ либо законъ непроницаемости, либо столь же непреодолимый законъ тяготѣнія. Иначе говоря, обратиться либо въ безконечно малую, либо въ безконечно большую величину. Первый способъ и есть самоотреченіе: мнѣ ничего не нужно, я

самъ ничтожество, я безконечно малъ и, стало быть, могу пройти черезъ безконечно малыя поры стѣны.

Второй способъ — *mania grandiosa*. Я безконечно силенъ, безконечно великъ, я все могу, могу разбросать стѣну, могу перешагнуть черезъ нее, хотя бы она была выше всѣхъ горъ земныхъ и до сихъ поръ отпугивала даже самыхъ могучихъ и самыхъ смѣлыхъ. Таково, вѣроятно, начало двухъ загадочнѣйшихъ и величайшихъ душевныхъ превращеній. Нѣтъ ни одной религіи, въ которой бы съ большей или меньшей ясностью не отпечатлѣлись бы слѣды описанныхъ выше приемовъ борьбы человѣка съ ограниченностью его силъ. Въ аскетическихъ религіяхъ преобладаетъ тенденція къ самоотреченію: буддизмъ прославляетъ полное уничтоженіе личности и идеаломъ считаетъ нирвану. Древніе греки мечтали о титанахъ и герояхъ. Евреи считаютъ себя избраннымъ народомъ и ждутъ Мессіи. Что касается евангелія,—то трудно сказать, какому способу борьбы здѣсь отдается предпочтеніе. Съ одной стороны—великія чудеса: воскрешеніе мертвыхъ, исцѣленіе больныхъ, власть надъ вѣтрами и моремъ, съ другой стороны: блаженны нищіе духомъ, Сынъ Божій, который будетъ нѣкогда сидѣть одесную силы, теперь живетъ въ обществѣ мытарей, нищихъ, блуд-

ницъ и служитъ имъ. Кто не за насъ, тотъ противъ насъ, обѣщаніе низвергнуть враговъ къ подножію ногъ и въ геенну огненную, вѣчная пытка за хулу на Духа Святого — и на-ряду съ этимъ заповѣдь величайшаго смиренія и любви къ врагамъ: ударившему по одной щекѣ повелѣвается подставить другую. Евангеліе все сплошь пропитано противорѣчіями, не внѣшними, не историческими и фактическими, а внутренними, противорѣчіями въ настроеніяхъ, въ «идеалахъ». Какъ выразился бы современный человѣкъ. Что возносится въ одной главѣ, какъ высшая задача, то низводится въ другой, какъ недостойное дѣло. Нѣтъ ничего удивительнаго, что самыя противоположныя ученія нашли себѣ оправданіе въ этой небольшой, наполовину состоящей изъ повтореній книгѣ. Христіанами называли себя и инквизиторы, и іезуиты, и древніе подвижники, христіанами называютъ себя и современные протестанты, и наши русскіе сектанты. Въ большей или меньшей степени всѣ правы, даже, пожалуй, и протестанты. Въ евангеліи скрещиваются столь противоположныя теченія, что люди, въ особенности люди большой дороги, умѣющіе двигаться лишь въ одномъ направленіи и подъ однимъ, всѣмъ видимымъ знаменемъ, люди, привыкшіе вѣрить въ единство разума и непрерываемость логическихъ законовъ, никогда

не могли охватить цѣликомъ евангельскаго ученія и всегда стремились придать словамъ и дѣламъ Христа единообразное, исключющее противорѣчія и болѣе или менѣе соотвѣтствующее обычнымъ представленіямъ о дѣлахъ и задачахъ жизни толкованіе. «Увѣруй и по твоему слову сдвинется гора» читали они въ загадочной книгѣ и понимали это въ томъ смыслѣ, что всегда, ежечасно и ежеминутно нужно думать и желать одного и того же, заранѣе предписаннаго и вполнѣ опредѣленнаго. Межъ тѣмъ евангеліе разрѣшаетъ и благословляетъ въ этихъ словахъ самые безумные и рискованные опыты. То, что есть, для Христа не существовало и существовало лишь то, чего нѣтъ.

Древній римлянинъ — Пилать, на примѣръ, по видимому образованный, умный и недурной, хотя слабохарактерный человѣкъ, недоумѣвалъ и не могъ дать себѣ отчета, изъ-за чего тутъ происходитъ такая странная борьба. Ему отъ всей души было жаль приведеннаго къ нему блѣднаго молодого еврея, очевидно ни въ чемъ не повиннаго. «Что есть истина?» спросилъ онъ Христа. Христосъ не отвѣтилъ ему, да и не могъ отвѣтить — не по «невѣжественности», какъ хотѣли думать язычники, а потому, что словами на этотъ вопросъ и отвѣтить нельзя. Нужно было, метафорически говоря, взять Пилата за

голову и повернуть въ другую сторону, чтобъ онъ увидѣлъ то, чего никогда не видѣлъ. Или, еще лучше, прибѣгнуть къ тому способу, которымъ пользуется въ сказкѣ конекъ-горбунокъ, чтобъ обратить соннаго Иванушку въ умницу и и красавца: сначала въ котелъ съ кипящимъ молокомъ, потомъ въ другой — съ кипящей водой, потомъ въ третій съ водою студеной. Есть всѣ основанія думать, что послѣ такой подготовки Пилатъ сталъ бы иначе спрашивать. Мнѣ кажется, что конекъ-горбунокъ согласился бы, что самоотреченіе и *mania grandiosa* вполне могутъ замѣнить предлагаемые сказкой котлы.

Великія лишенія и великія иллюзіи до такой степени мѣняють природу человѣка, что казавшееся невозможнымъ становится возможнымъ и недостижимое — достижимымъ.

III.

Вѣчныя истины. Ксенофонтъ въ Меморабіяхъ рассказываетъ про встрѣчу Сократа съ знаменитымъ софистомъ Гиппіемъ. Когда Гиппій пришелъ къ Сократу, послѣдній по обыкновенію велъ бесѣду и по обыкновенію же удивлялся тому, что люди, когда имъ нужно обучиться плотницкому или кузнечному ремеслу, знаютъ, къ кому обратиться, но если пожелаютъ нау-

читься добродѣтели, не могутъ никакъ найти учителя. Гиппій, который уже много разъ слышалъ отъ Сократа эти разсужденія, иронически замѣтилъ: «неужели ты и теперь, Сократъ, говоришь все то же, что я давно когда то слышалъ отъ тебя?» Сократъ понялъ и принялъ вызовъ, какъ вообще всегда охотно принималъ такого рода вызовы. Начался споръ, изъ котораго выяснилось, что на этотъ разъ (какъ и всегда у Платона и Ксенофонта) Сократъ оказался болѣе сильнымъ діалектикомъ, чѣмъ его противникъ. Ему удалось доказать, что его понятіе о справедливости имѣетъ столь же незыблемое основаніе, какъ и всѣ прочія, высказываемыя имъ сужденія и, что вмѣстѣ съ тѣмъ однажды составленныя убѣжденія, если они истинны, такъ же мало подвержены дѣйствию времени, какъ благородные металлы дѣйствию ржи.

Сократъ жилъ 70 лѣтъ, былъ однажды юношей, однажды мужемъ, однажды старикомъ. Но если бы онъ прожилъ сто сорокъ лѣтъ, второй разъ испыталъ всѣ три возраста жизни и потомъ снова встрѣтился съ Гиппиемъ? Или, что еще лучше, — если душа, какъ училъ Сократъ, бессмертна и Сократъ въ настоящее время живетъ гдѣ-нибудь на лунѣ, Сиріусѣ или въ иномъ предназначенномъ для бессмертныхъ душъ мѣстѣ, неужели онъ и тамъ до сихъ поръ донимаетъ своихъ

собесѣдниковъ разговорами о справедливости, плотникахъ и кузнецахъ? И теперь, какъ когда-то, выходитъ побѣдителемъ изъ спора съ Гипсіемъ и другими людьми, рѣшающимися утверждать, что законамъ времени можетъ и должно подчиняться все, въ томъ числѣ и человѣческія убѣжденія и, что отъ такого рода подчиненія человѣчество не только ничего не теряетъ, но даже много выигрываетъ.

IV.

Земля и небо. Слово справедливость на устахъ у всѣхъ. Но въ самомъ ли дѣлѣ справедливость въ такой цѣнѣ у людей, какъ это можетъ показаться, если повѣрить тому, что о ней говорилось и говорится? Болѣе: цѣнятъ ли ее въ такой мѣрѣ ея присяжные защитники и хвалители-поэты, философы, моралисты, богословы — даже лучшіе изъ нихъ, наиболѣе искренніе и даровитые? Я позволю себѣ очень и очень сомнѣваться въ этомъ. Посмотрите творенія лютого мудреца древняго и новаго міра. Справедливость — если ее понимать какъ равенство всѣхъ живыхъ людей предъ законами творенія — а какъ ее иначе понимать? — никого никогда не занимала. Платонъ ни разу не спрашиваетъ судьбу, отчего она Терсита создала презрѣннымъ, а Па-

трокла—благороднымъ. Платонъ убѣждаетъ людей быть справедливыми, но ни разу не рѣшается допросить боговъ по поводу ихъ несправедливости. Если вслушаться въ его рѣчи, то, пожалуй, иной разъ западетъ въ душу подозрѣніе, что справедливость есть добродѣтель для смертныхъ, у безсмертныхъ же свои собственные добродѣтели, ничего общаго со справедливостью не имѣющія. И вотъ послѣднее искушеніе для земной добродѣтели. Мы не знаемъ, смертна или безсмертна человѣческая душа. Одни, какъ извѣстно, вѣрятъ въ безсмертіе, другіе такую вѣру высмѣиваютъ. Если бы оказалось, что и тѣ и другіе неправы и что судьба людей послѣ смерти, какъ и при жизни, далеко не одинакова: удачники, избранники переселяются на небеса, остальные остаются гнить въ могилахъ и гибнуть вмѣстѣ со своей смертной оболочкой. Такое допущеніе, мимоходомъ, правда, дѣлаетъ нашъ русскій пророкъ, жрецъ любви и справедливости, Достоевскій въ «Легендѣ о великомъ инквизиторѣ». Такъ вотъ, если бы оказалось, что Достоевскій дѣйствительно безсмертенъ, а безчисленное количество его вѣрующихъ учениковъ и поклонниковъ, та огромная масса сѣраго (во всѣхъ смыслахъ) люда, о которой идетъ рѣчь въ «Великомъ Инквизиторѣ», кончаетъ свою жизнь со смертію, какъ и начинаетъ съ ро-

жденія—примирился ли бы человѣкъ и не какой-нибудь первый попавшійся, а хотя бы самъ Достоевскій, котораго я здѣсь не случайно назвалъ, а умышленно, какъ наиболѣе горячаго защитника идеи справедливости (на землѣ бывали еще болѣе горячіе, страстные и замѣчательные защитники справедливости, можетъ быть ихъ слѣдовало бы называть, — но на этотъ разъ я не хочу кощунствовать, — кому Достоевскій покажется малымъ, пусть самъ назоветъ другого), итакъ примирился ли бы Достоевскій съ такой несправедливостью, т.-е. возсталъ бы ли онъ въ загробномъ мірѣ противъ неправды или, занявъ уготовленное ему тамъ мѣсто, позабылъ бы о своихъ бѣдныхъ братьяхъ? А priori судить трудно, но а posteriori нужно думать, что забылъ бы. Въдѣ между Достоевскимъ и мелкимъ провинціальнымъ писателемъ, между первыми и послѣдними на землѣ тоже разница колоссальная, и несправедливость такого неравенства вопіетъ къ небесамъ. Тѣмъ не менѣе мы, ничего, живемъ здѣсь и не вопимъ, а если и вопимъ, то очень рѣдко, при чемъ, по правдѣ говоря, трудно съ увѣренностью сказать, отчего, собственно, мы вопимъ: оттого ли, что хотимъ привлечь вниманіе равнодушнаго неба, или оттого, что среди нашихъ ближнихъ есть много любителей воплей (литературныхъ дарованій). Вродѣ странницы въ

«Грозѣ», которая страсть любила, когда кто хорошо воетъ. Всѣ эти соображенія могутъ, показаться особенно важными тѣмъ, которые, подобно мнѣ въ настоящую минуту (за завтрашній день не ручаюсь) раздѣляютъ сужденіе Достоевскаго, что, если и существуетъ безсмертіе, то, разумѣется, не для всѣхъ, а для нѣкоторыхъ. При чемъ я еще, въ согласіи съ Достоевскимъ, допускаю, что воскреснутъ именно тѣ, которыхъ по существующимъ предположеніямъ ждетъ худшее послѣ смерти. Первые здѣсь будутъ первыми и тамъ, а отъ послѣднихъ не останется даже и воспоминанія. И за погибшихъ некому даже будетъ вступиться: Достоевскіе, Толстые и всѣ другіе «первые», которымъ удастся попасть на небо, будутъ заняты несравненно болѣе важными дѣлами...

Теперь, если угодно, продолжайте заботиться о справедливомъ устройствѣ на землѣ и кладите, вслѣдъ за Платономъ, ученіе о справедливости въ основаніе философіи.

V.

Сила доказательствъ. Шопенгауэръ вопросъ о безсмертіи души разрѣшалъ отрицательно. По его мнѣнію, человѣкъ, какъ Ding an sich безсмертенъ, но, какъ явленіе — смертенъ.

Иначе говоря, все, что есть въ насъ индивидуальнаго, существуетъ лишь въ промежуткѣ между рожденіемъ и смертію, но такъ какъ каждый индивидуумъ, по ученію Шопенгауэра, есть проявленіе «воли» или «Ding an sich», того вѣчнаго и неизмѣннаго начала, которое представляетъ изъ себя единую сущность міра объективирующуюся во множественности явленій, то, постольку, поскольку это начало проявляется въ человѣкѣ, онъ—вѣченъ. Таково, говорю, мнѣніе Шопенгауэра, являющееся, повидимому, послѣдовательнымъ логическимъ выводомъ изъ его общаго философскаго ученія, какъ въ той части, которая относится къ Ding an sich, такъ и въ той, которая относится къ индивидууму. Первую часть мы оставимъ безъ разсмотрѣнія: въ концѣ-концовъ, если Шопенгауэръ ошибался и Ding an sich — смертна, — горе небольшое, подобно тому, какъ и безсмертію ея нѣтъ причинъ радоваться. Но вотъ индивидуумъ: у него отнимается право на безсмертіе и въ доказательство приводится соображеніе, на первый взглядъ совершенно неопровержимое. Все, что имѣетъ начало, имѣетъ также и конецъ, говоритъ Шопенгауэръ. Индивидуумъ имѣетъ начало (рожденіе), стало быть его ждетъ и конецъ (смерть). Самому Шопенгауэру и положеніе и выводъ казались до такой степени очевидными, что онъ ни на минуту

не допускалъ возможности ошибки. А межъ тѣмъ на этотъ разъ мы имѣемъ безпорный случай ошибочнаго заключенія изъ ошибочной предпосылки. Ибо во первыхъ: отчего все, что имѣетъ начало, должно также имѣть и конецъ? Эмпирическія наблюденія наводятъ на такое предположеніе, — но развѣ эмпирическихъ наблюденій достаточно, чтобъ создавать предпосылки? И развѣ такъ добытыя предпосылки въ правѣ мы примѣнять въ качествѣ неизбѣмыхъ положеній для разрѣшенія важнѣйшихъ философскихъ вопросовъ? А, затѣмъ, допустимъ даже, что посылка правильна, все же выводъ, къ которому пришелъ Шопенгауэръ, сдѣланъ невѣрно. Можетъ быть, дѣйствительно, все, имѣющее начало, имѣетъ конецъ, можетъ быть индивидууму рано или поздно суждено погибнуть, но почему приурочивать моментъ уничтоженія души къ смерти тѣла? Можетъ быть тѣло умретъ, а душа, которую въ послѣдствіи ждетъ та же участь, хоть немного, не на вѣки вѣчныя, какъ думаютъ крайніе оптимисты, да поживетъ еще, разыскавши себѣ болѣе или менѣе подходящую матеріальную оболочку гдѣ нибудь на дальней, можетъ еще неизвѣстной намъ планетѣ. Какъ важно было бы бѣдному человѣчеству хоть такую надежду сохранить! Тѣмъ болѣе, что едва ли мы знаемъ навѣрняка, чего желаютъ люди, когда говорятъ о безсмертіи души.

Точно ли имъ непремѣнно нужно вѣчно жить или они удовольствовались бы еще одной, двумя жизнями, особенно если бы послѣдующія жизни оказались бы не столь обидно незначительными, какъ наше земное существованіе, въ которомъ даже чинъ XIV класса составляетъ для многихъ недосыгаемый идеалъ. Мнѣ кажется, что далеко не всякій согласится жить вѣчно. А что, если исчерпаются всѣ возможности и начнутся безконечныя повторенія?..

Изъ сказаннаго, конечно, не слѣдуетъ, что мы имѣемъ право разсчитывать на загробное существованіе: вопросъ попрежнему остается открытымъ и послѣ опроверженія Шопенгауэровскихъ доказательствъ. Но несомнѣнно слѣдуетъ, что самыя лучшія доказательства при ближайшемъ разсмотрѣніи часто оказываются никуда негодными. *Quod demonstrandum erat* — разумѣется, до тѣхъ поръ, пока не найдутся доказательства, которыя опровергнутъ мои опроверженія доказательствъ Шопенгауэра. Оговорку эту сдѣлалъ для того, чтобы лишить критиковъ удовольствія и возможности поиграть словами.

VI.

Лебединыя пѣсни. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что, «Когда мы мертвые пробуждаемся»

одна изъ наиболѣе автобіографическихъ пьесъ Ибсена. Почти всѣ его драмы носятъ замѣтные слѣды личныхъ переживаній—даже, болѣе того, повидимому самое цѣнное въ нихъ, это возможность прослѣдить исторію внутренней борьбы автора. Но, быть можетъ, особенное значеніе среди остальныхъ драмъ имѣетъ «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» въ виду того, что вещь задумана и написана авторомъ въ глубокой старости. Для тѣхъ, кому интересно подслушать и подсмотреть, о чемъ говорятъ и что дѣлаютъ на окраинахъ жизни, чрезвычайно цѣнна возможность общенія съ глубокими стариками, съ умирающими, вообще съ людьми, поставленными въ исключительныя условія, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда эти люди не боятся говорить правду и выработали себѣ прошлымъ опытомъ искусство и смѣлость (нужно и то, и другое) глядѣть прямо въ глаза дѣйствительности, Ибсенъ оказывается даже интереснѣе, чѣмъ Толстой. И Толстому его дарованіе не измѣнило до сихъ поръ, но Толстой прежде всего моралистъ. Для него сейчасъ, какъ и въ молодости, власть надъ людьми дороже всего и кажется обаятельнѣе всѣхъ прочихъ благъ міра. Онъ все еще продолжаетъ приказывать, требовать и хочетъ, чтобъ ему во что бы то ни стало повиновались. Можно, и даже должно, пожалуй, съ вниманіемъ и уваженіемъ

относиться къ этой особенности толстовской натуры. Въдь не одинъ Толстой, а многіе царственные отшельники мысли до конца своей жизни предъявляли къ человѣчеству безусловныя требованія подчиненія Сократъ въ день смерти, за часъ передъ смертію училъ, что есть лишь одна истина и именно та, которую онъ открылъ. Платонъ, будучи глубокимъ старикомъ, ѣздилъ въ Сиракузы насаждать свою мудрость. Вѣроятно, такое упорство великихъ людей имѣетъ свое объясненіе и свой глубокій смыслъ.

И Толстому, и Сократу и Платону, и еврейскимъ пророкамъ, которые въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, были очень похожи на учителей мудрости, вѣроятно, нужно было всецѣло сосредоточить свои силы на одной огромной внутренней задачѣ, условіемъ удачнаго выполненія которой является иллюзія, что весь міръ, вся вселенная дѣйствуетъ заодно и въ униссонъ съ ними. Я уже указывалъ по поводу Толстого, что въ настоящее время онъ въ своемъ міропониманіи находится на границѣ солипсизма. Толстой и весь міръ — равнозначущія понятія: безъ такого временнаго заблужденія всего его существа (не умственной, головной ошибки: голова знаетъ хорошо, что міръ — самъ по себѣ, Толстой — самъ по себѣ) ему пришлось бы отказаться отъ самага важнаго своего дѣла.

Это вродѣ того, какъ всѣ мы знаемъ послѣ Коперника, что земля движется вокругъ солнца, знаемъ, что каждая изъ звѣздъ не чистый и ясный золотой кружокъ, а огромная глыба разнообразнаго состава, что голубого, твердаго купола нѣтъ надъ нами. Знаемъ—а тѣмъ не менѣе не можемъ и не хотимъ ослѣпить себя, чтобъ не любоваться ложью оптическихъ иллюзій видимаго міра. Такъ называемая истина имѣетъ для насъ только ограниченную цѣнность. Жертва Галилея отнюдь не опровергаетъ мои слова. *E pur si muove*, если онъ и произнесъ эту фразу, она могла вовсе и не относиться къ движенію земли, хотя говорилось о землѣ. Галилей не хотѣлъ предавать дѣла своей жизни. Кто намъ, однако, поручится, что на такое самопожертвованіе способенъ не только Галилей, но и ученикъ его, хотя бы самый преданный и смѣлый ученикъ, изъ устъ учителя, а не собственной борьбой, добывшій новую истину? Апостолъ Петръ за одну ночь трижды отказался отъ Христа. Теперь, вѣроятно, во всемъ мірѣ мы не нашли бы ни одного человѣка, который бы согласился умереть въ доказательство и ради защиты идеи Галилея. Повидимому, великіе люди очень мало склонны посвящать въ тайны своихъ великихъ дѣлъ постороннихъ лицъ. Повидимому, даже они сами не всегда умѣютъ дать себѣ

ясный отчетъ въ характеръ и смыслъ поставляемыхъ ими себѣ задачъ. Самъ Сократъ, такъ упорно искавшій всю жизнь свою ясности, выдумавшій для этой цѣли діалектику и введшій во всеобщее употребленіе опредѣленія, имѣвшія своимъ назначеніемъ фиксировать текущую дѣйствительность, Сократъ, передъ смертию тридцать дней подрядъ убѣждавшій своихъ учениковъ въ томъ, что онъ умираетъ ради истины и справедливости, — самъ Сократъ, говорю я, можетъ быть, и даже вѣроятнѣе всего такъ же мало зналъ, зачѣмъ онъ умираетъ, какъ знаютъ объ этомъ простые люди. умирающіе естественною смертію, или какъ знаютъ родившіеся на свѣтъ младенцы, кто и какой — враждебной либо благожелательной властью — вызвалъ ихъ отъ небытія къ бытію. Такова наша жизнь: въ ней мудрецы и глупцы, старики и младенцы идутъ наугадъ къ цѣлямъ, которыя не обнаружены до сихъ поръ ни свѣтскими, ни духовными, ни обыкновенными, ни священными книгами. Всѣ эти соображенія я напомнилъ отнюдь не затѣмъ, чтобъ лишній разъ посрамить догматизмъ. Я всегда былъ убѣжденъ и до сихъ поръ увѣренъ, что догматики сраму не имутъ, и что ихъ никоимъ образомъ не выживешь со свѣту. Въ послѣднее же время, я, кромѣ того, пришелъ къ заключенію, что догматики совер-

шенно правы въ своемъ упорствѣ. Вѣра, потребность вѣры сильна, какъ любовь, какъ смерть. По отношенію къ каждому догматику я въ настоящее время считаю своей священной обязанностью впередъ идти на всѣ уступки, вплоть до признанія малѣйшихъ и незначительнѣйшихъ отѣнковъ его убѣжденій и вѣрованій. Единственное ограниченіе, очень незамѣтное, почти невидимое: его убѣжденія не должны быть безусловно общеобязательными, т.-е. для всѣхъ, безъ исключенія людей. Большинство, огромное большинство—милліоны, даже миллиарды людей я ему охотно уступаю, при предположеніи, что они сами того захотятъ, или что онъ окажется достаточно искуснымъ, чтобъ переманить ихъ на свою сторону (вѣдь насиліе въ дѣлѣ вѣры недопустимо?). Словомъ, я ему уступаю почти всѣхъ людей, зато онъ долженъ согласиться, что для оставшихся единицъ или десятковъ его убѣжденія внутренне не обязательны (на внѣшнюю покорность я иду). Такъ что догматикъ, послѣ такой побѣды—мое признаніе вѣдь для него полная побѣда—долженъ считать себя вполне удовлетвореннымъ.

Сократъ былъ правъ, Платонъ, Толстой, пророки — правы, есть только одна истина, одинъ Богъ, истина вправѣ уничтожать ложь, свѣтъ—тьмѣ, Богъ, всезнающій, всеблагій и всемогущій,

какъ Александръ Македонскій, завоюетъ почти весь извѣстный ему міръ и изъ своихъ владѣній при торжественныхъ и радостныхъ кликахъ милліардовъ вѣрноподанныхъ изгонитъ дьявола и всѣхъ непокорныхъ божескому слову. Но отъ власти надъ душами своихъ немногочисленныхъ противниковъ, согласно условію, откажется и нѣсколько отступниковъ, собравшись на отдаленномъ и невидимомъ для милліардовъ островѣ, будутъ продолжать свою вольную, особенную жизнь. И вотъ—чтобы вернуться къ началу—среди этой горсточки непокорныхъ окажется и Ибсенъ, какимъ онъ былъ въ послѣдніе годы своей жизни, какимъ онъ рисуется въ послѣдней драмѣ. Вѣроятно, мы тамъ и нашего Гоголя встрѣтимъ. Ибо въ «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» Ибсенъ санкціонируетъ и прославляетъ то, что пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ сдѣлалъ Гоголь. Онъ отказывается отъ своего искусства, съ ненавистью и съ насмѣшкой вспоминаетъ о томъ, что было когда то дѣломъ его жизни. 15 апрѣля 1866 года Ибсенъ писалъ королю Карлу: «я не борюсь за беззаботное существованіе, я борюсь за свою жизненную задачу, въ которую непоколебимо вѣрю и которую, я знаю, Богъ возложилъ на меня». Къ слову сказать, вы не назовете почти никого изъ великихъ дѣятелей, который не повторялъ бы въ

той или иной формѣ приведеннаго утвержденія Ибсена. Повидимому, безъ такого рода иллюзіи, временной или постоянной, невозможна та напряженная борьба и тѣ жертвы, цѣной которыхъ покупаются великія дѣла. Повидимому, даже и для успѣха малыхъ дѣлъ необходимы разнаго рода иллюзіи. Вѣдь для того, чтобы маленькому человѣку сдѣлать свое микроскопическое дѣло, ему тоже часто приходится до крайности напрягать свои маленькія силенки. И кто знаетъ?— не казалось ли Акакію Акакіевичу, что Богомъ на него возложена задача аккуратно переписывать канцелярскія бумажки и сшить себѣ новую шинель? Онъ, конечно, никогда бы этого не дерзнулъ, да и не умѣлъ бы сказать, прежде всего по своей робости, а затѣмъ еще и потому, что не владѣлъ даромъ слова. Музы же бѣднымъ и слабыми людямъ не несутъ своей дани: онѣ воспѣваютъ только Крезовъ и Кесарей. Но, несомнѣнно, что первые въ деревнѣ считаютъ себя такъ же отмѣченными судьбой, какъ и первые въ Римѣ. Цезарь чувствовалъ это, и въ немъ говорило не одно только честолюбіе, когда онъ произносилъ свою извѣстную фразу. Люди не вѣрятъ себѣ и стремятся всегда занять такое положеніе, при которомъ у нихъ возникаетъ правильная или ложная увѣренность, что они находятся на виду у Бога. Но съ годами всѣ

иллюзіи разсѣиваются, разсѣивается и иллюзія о томъ, что Богъ избираетъ нѣкоторыхъ людей для своихъ особыхъ цѣлей и возлагаетъ на нихъ особенныя порученія. Гоголь, долго такъ именно понимавшій свою писательскую задачу, передъ смертью сжигаетъ свою лучшее произведеніе. Ибсенъ дѣлаетъ почти то же. Въ лицѣ профессора Рубека онъ отрекается отъ своей литературной дѣятельности и высмѣиваетъ ее, хотя она принесла ему все, на что онъ могъ рассчитывать: славу, почетъ, богатство... И изъ-за чего, подумайте только? Изъ-за того, что ему пришлось пожертвовать въ себѣ мужчиной ради художника, покинуть Ирену, которую онъ любилъ, и жениться на женщинѣ, къ которой онъ былъ равнодушенъ. Или, подъ конецъ жизни, Ибсенъ выяснилъ себѣ, что самъ Богъ возложилъ на него задачу быть мужчиной? Но вѣдь мужчины всѣ, художники — единицы. Если бы это сказалъ не Ибсенъ, а простой смертный, мы назвали бы это величайшей пошлостью. Но въ устахъ Ибсена, семидесятилѣтняго старика, автора «Бранда», того «Бранда», изъ котораго европейскіе священники черпаютъ темы и матеріалъ для проповѣдей, въ устахъ Ибсена, написавшаго «Кесарь и Галлилеянинъ», такое признаніе пріобрѣтаетъ неожиданный и загадочный смыслъ. Тутъ ужъ не отдѣлаешься ка-

чаньемъ головы, презрительной усмѣшкой. Не кто нибудь—самъ Ибсенъ говоритъ. Первый человекъ не въ деревнѣ, не въ Римѣ даже—первый во всемъ мірѣ. Говоритъ громко, увѣренно, *urbi et orbi*. Вотъ ужъ подлинно человѣческій законъ: отъ тюрьмы и отъ сумы не зарекайся. Можетъ быть, тутъ уместно будетъ вспомнить о лебединыхъ пѣсняхъ Тургенева. У Тургенева тоже были высокіе идеалы, которые, вѣроятно, ему казались полученными непосредственно отъ Бога. Фразу, которой заканчивается замѣчательная статья его «Гамлетъ и Донъ-Кихотъ», можно смѣло вложить въ уста самому Бранду. «Все проходитъ—добрыя дѣла остаются»—въ этихъ словахъ весь Тургеневъ, лучше сказать—весь сознательный Тургеневъ того періода своей жизни, къ которому относится названная статья. Впрочемъ не только того—до послѣднихъ минутъ жизни сознательный Тургеневъ не отказался бы отъ этихъ словъ. Но въ «стихотвореніяхъ въ прозѣ» звучитъ совсѣмъ иной мотивъ. Все, о чемъ онъ тамъ рассказываетъ, какъ и все, о чемъ рассказываетъ Ибсенъ въ послѣдней своей драмѣ, пропитано одной безконечной, неутолимой тоской о безплодно растроченной жизни,—жизни, ушедшей на проповѣдь «добра». И ни молодости, ни здоровья, ни прежнихъ силъ не жаль! Можетъ быть и смерть не страшна... Чего не можетъ

вытравить изъ себя старикъ Тургеневъ — это воспоминанія о «русской дѣвушкѣ». Онъ писалъ и воспѣлъ ее, какъ никто другой до него въ русской литературѣ не описывалъ, но она была для него только моделью, онъ не прикоснулся къ ней, какъ Рубекъ - Ибсенъ къ Иренѣ, и ушелъ къ Виардо. И это страшный грѣхъ, ничѣмъ не искупаемый, смертный грѣхъ — тотъ, о которомъ говорится въ Библии. Все простится, все проходитъ, все забудется — это преступленіе навѣки остается. Таковъ смыслъ «*Senilia*» Тургенева, таковъ смыслъ «*Senilia*» Ибсена. Я нарочно называлъ слово «*Senilia*», хотя могъ бы говорить о лебединыхъ пѣсняхъ и хотя правильнѣй было бы говорить о лебединыхъ пѣсняхъ. «Лебеди, — рассказываетъ Платонъ, — когда чувствуютъ приближеніе смерти, поютъ въ этотъ день лучше, чѣмъ когда бы то ни было, радуясь, что они найдутъ Бога, которому они служатъ». Ибсенъ и Тургеневъ служили тому же Богу, что и лебеди, по вѣрованію грековъ, — свѣтлому богу пѣсенъ Аполлону. И ихъ послѣднія пѣсни, ихъ *Senilia* были лучше, чѣмъ всѣ прежнія. Въ нихъ бездонная, страшная для глаза, но какая дивная глубина! Все тамъ по иному, чѣмъ здѣсь у насъ на поверхности. Довѣриться ли соблазну, идти ли на призывъ великихъ стариковъ, или привязать себя къ мачтѣ проверенныхъ обще-

человѣческимъ опытомъ убѣжденій и зажать уши, какъ сдѣлалъ когда-то хитроумный Одиссей, чтобъ спастись отъ сирень? Есть выходъ, есть слово, которымъ можно разрушить очарованіе. Я назвалъ уже его: *Senilia*. Тургеневъ хотѣлъ такъ озаглавить свои «стихотворенія въ прозѣ». Проявленія болѣзни, немощности, старости. Это—страшно, отъ этого нужно бѣжать! Шопенгауэръ, философъ-метафизикъ боялся въ старости передѣлывать свои юношескія произведенія. Ему казалось что онъ можетъ испортить ихъ однимъ своимъ прикосновеніемъ. И всѣ не вѣрятъ старости, всѣ раздѣляютъ опасенія Шопенгауэра. А что, если всѣ ошибаются? Что, если *Senilia* приближаютъ насъ къ истинѣ? Можетъ быть, вѣщія птицы Аполлона тоскуютъ неземной тоской по иному бытію, можетъ, ихъ страхъ относится не къ смерти, а къ жизни, можетъ быть, и въ стихотвореніяхъ Тургенева, и въ послѣдней драмѣ Ибсена уже слышны если не послѣднія, то, по крайней мѣрѣ, предпослѣднія человѣческія слова.

VII.

Что такое философія? Въ учебникахъ философіи на этотъ вопросъ вы найдете самые

разнообразные отвѣты. За двѣ съ половиною тысячи лѣтъ своего существованія философія имѣла возможность сдѣлать огромное количество попытокъ опредѣлить сущность своей задачи. Но приглашеніе между признанными представителями любителей и любимцевъ мудрости до сихъ поръ еще не достигнуто. Всякій судить по-своему, свое сужденіе считаетъ единственно истиннымъ—но о *consensus sapientium* здѣсь даже и мечтать нельзя. Но, страннымъ образомъ, именно въ этомъ спорномъ пунктѣ, гдѣ такъ невозможно соглашеніе ученыхъ и мудрецовъ, вполне достигнуто *consensus profanorum*. Всѣ тѣ, кто никогда философіей не занимался, кто вообще никогда не читалъ ученыхъ книгъ, даже никакихъ книгъ, съ рѣдкимъ единодушіемъ отвѣчаютъ на нашъ вопросъ. Правда, объ ихъ мнѣніяхъ нельзя, повидимому, прямо судить, потому что такого рода люди совсѣмъ не умѣютъ говорить выработаннымъ наукой языкомъ, никогда въ такой формѣ вопроса не ставятъ и еще менѣе умѣютъ отвѣчать на него принятыми словами. Но у насъ есть одно важное косвенное указаніе, которое даетъ намъ право сдѣлать заключеніе. Несомнѣнно, что всѣ тѣ люди, которые шли къ философіи за отвѣтами на мучившіе ихъ вопросы, уходили отъ нея разочарованными, если только у нихъ не оказывалось достаточно выдающагося

дарованія, для того, чтобы примкнуть къ цеху профессиональныхъ философовъ. Изъ этого безъ колебанія можно сдѣлать выводъ, пока, правда, отрицательный: философія занимается такимъ дѣломъ, которое можетъ быть интереснымъ и важнымъ только для нѣкоторыхъ, для многихъ же оно представляется скучнымъ и ненужнымъ.

Выводъ въ высокой степени утѣшительный какъ для профановъ, такъ и для мудрецовъ. Ибо каждый мудрецъ, даже самый прославленный, вмѣстѣ съ тѣмъ и профанъ, т.-е., бросивъ академическое словоупотребленіе, просто-на-просто человѣкъ. Съ нимъ тоже можетъ случиться, что и у него возникнутъ тѣ мучительные вопросы, съ которыми являлись къ нему же обыкновенные люди, къ примѣру сказать Толстовскій Иванъ Ильичъ или Чеховскій профессоръ (изъ «Скучной исторіи»). И тогда, разумѣется, онъ вынужденъ будетъ признаться, что въ тѣхъ толстыхъ книгахъ, которыя онъ такъ хорошо изучилъ, нужныхъ отвѣтовъ нѣтъ. И радоваться этому. Ибо, что можетъ быть ужаснѣе для человѣка, чѣмъ необходимость въ трудныя минуты жизни признать обязательность какого бы то ни было философскаго ученія? Напримѣръ, думать вмѣстѣ съ Платономъ, Спинозой или Шопенгауэромъ, что главная задача жизни — нравственное совершенствованіе, иначе говоря,

самоотреченіе. Хорошо было Платону проповѣ-
довать справедливость! Это ему нисколько не
мѣшало быть сыномъ своего времени, т.-е. въ
допустимыхъ размѣрахъ нарушать заповѣди, имъ
же возвѣщаемыя. Спиноза, по всѣмъ видимо-
стямъ, былъ гораздо выдержаннѣе и послѣдо-
вательнѣе Платона, онъ на самомъ дѣлѣ дер-
жалъ страсти въ повиновеніи. Но это былъ
его личный, индивидуальный вкусъ. Послѣдо-
вательность была не только свойствомъ его ума,
но всей его натуры. Проявляя ее, онъ проявлялъ
себя. Что до Шопенгауэра, то онъ, какъ извѣст-
но, восхвалялъ добродѣтели только въ своихъ
книгахъ. Въ жизни же, какъ и всякій незави-
симый и умный человѣкъ, руководствовался са-
мыми разнообразными соображеніями.

Но все это — учителя, люди, выдумывающіе
системы и императивы. Ученикъ же, ищущій у
философіи отвѣтовъ на свои вопросы, не мо-
жетъ разрѣшать себѣ никакихъ вольностей и
отступленій отъ общихъ правилъ, ибо сущность
и основная задача каждаго ученія сводится къ
тому, чтобъ подчинить не только поведеніе лю-
дей, но и жизнь всей вселенной единому регу-
лирующему принципу. Отдѣльные философы та-
кіе принципы находили, но окончательнаго со-
глашенія между философами до сихъ поръ еще
нѣтъ, и это до нѣкоторой степени облегчаетъ

положеніе тѣхъ несчастныхъ, которые, потерявъ надежду отыскать помощь и руководство въ иныхъ мѣстахъ, обратились къ философіи. Разъ тутъ нѣтъ общаго, всѣми признаннаго, обязательнаго принципа,—значить, что пока, по крайней мѣрѣ, разрѣшается каждому думать, чувствовать и даже поступать по-своему. Можно послушаться Спинозы, можно и не послушаться. Можно преклониться предъ вѣчными идеями Платона, но можно отдать предпочтеніе всегда измѣнчивой, текучей дѣйствительности. Наконецъ, можно принять пессимизмъ Шопенгауэра, но никто и ничто не въ силахъ навязать вамъ безбрачіе на основаніи того, что Шопенгауэръ удачно высмѣивалъ любовь. И, чтобъ завоевать себѣ такую свободу, вовсе нѣтъ нужды вооружаться легкой діалектикой древняго греческаго философа. тяжеловѣсной логикой бѣднаго голландскаго еврея или тонкимъ остроуміемъ глубокомысленнаго нѣмца. Ихъ вовсе и оспаривать не нужно. Можно даже со всѣми согласиться. Міровое пространство безконечно и не только вмѣститъ въ себя всѣхъ когда-либо жившихъ и имѣющихъ народиться людей, но дастъ каждому изъ нихъ все, чего онъ пожелаетъ. Платону—міръ идей, Спинозѣ—единую, вѣчную и неизмѣнную сущность, Шопенгауэру—буддійскую нирвану. Каждый изъ нихъ и всѣ другіе, здѣсь

не упомянутые философы, свѣтскіе и духовные, найдутъ во вселенной то, что имъ нужно, вплоть до вѣры, даже убѣжденія, что ихъ ученія суть единственно истинныя и всеобъемлющія ученія. Но, одновременно, и профаны отыщутъ для себя подходящія міры. Изъ того, что на землѣ людямъ тѣсно, изъ того, что здѣсь приходится немовѣрными усиліями отвоевывать каждую пядь земли и даже наши призрачныя свободы, никакъ не слѣдуетъ, что бѣдность, темнота, деспотизмъ должны считаться вѣчными, премірными началами, и что экономное единство есть послѣднее прибѣжище для человѣка. Множественность міровъ, множественность людей и боговъ среди необъятныхъ пространствъ необъятной вселенной, — да вѣдь это (да простится мнѣ слово) идеаль! Правда, не идеалистически обоснованный. Зато, какой выводъ впереди! Философовъ спорящихъ и доказывающихъ мы оставимъ въ сторонѣ, разъ дѣло дошло до боговъ. По существующимъ вѣрованіямъ и предположеніямъ и боги всегда ссорились межъ собой и боролись. Даже въ монотеистическихъ религіяхъ люди всегда принуждали своего Бога вступать въ борьбу и даже придумывали для него нарочитаго соперника—дьявола. Люди никакъ не могутъ отдѣлаться отъ мысли, что на небѣ все происходитъ совсѣмъ какъ на землѣ, и всѣ свои,

какъ дурныя, такъ и хорошія качества приписываютъ также и небожителямъ. Межъ тѣмъ какъ, вѣроятно же всего, многого изъ того, что, по нашимъ представленіямъ, совершенно неотдѣлимо отъ жизни, на небѣ нѣтъ. Нѣтъ, между прочимъ, и борьбы. И это—хорошо. Ибо всякая борьба неизбѣжно рано или поздно переходитъ въ драку. Когда исчерпывается запасъ логическихъ и этическихъ доводовъ, непримирившимся противникамъ остается одно,—вступить въ рукопашную, которая обыкновенно и рѣшаетъ исходъ дѣла. Оцѣнка логическихъ и этическихъ соображеній произвольна, матеріальная же сила измѣряется пудо-футами, ее даже можно заранее учесть. Такъ что, стало быть, тамъ, гдѣ, по общему предположенію, не будетъ пудофутовъ, исходъ борьбы очень часто будетъ оставаться нерѣшеннымъ. Когда Лермонтовскій демонъ направляется въ келью Тамары, его встрѣчаетъ на пути ангелъ. Демонъ говоритъ, что Тамара принадлежитъ ему, ангелъ требуетъ ее себѣ. Словами и доводами демона не переубѣдишь: не на таковского напали. Объ ангелѣ и говорить нечего: онъ вѣдь всегда считаетъ себя вдвойнѣ правымъ. Какъ разрѣшить споръ? Въ концѣ концовъ Лермонтовъ не умѣлъ или не смѣлъ придумать новый способъ разрѣшенія и допустилъ вмѣшательство матеріальной силы:

Тамару у демона вырываютъ, совсѣмъ такъ, какъ на землѣ болѣе сильный хищникъ вырываетъ добычу у болѣе слабаго. Повидимому, поэтъ допустилъ такую развязку, чтобъ отдать дань традиціонному благочестію. По моему мнѣнію, рѣшеніе не только не благочестиво, но — прямо кощунственно. Въ немъ ясно еще видны не вытравленные слѣды варварства и идолопоклонства. Богу приписываются вкусы и атрибуты, о которыхъ мечтаютъ земные деспоты. Онъ непременно долженъ, и будто бы хочетъ быть самымъ сильнымъ, самымъ первымъ и т. д. — совсѣмъ какъ Юлій Цезарь въ молодости. Онъ больше всего боится соперничества и никогда не прощаетъ своихъ несмирившихся враговъ. Повидимому, это грубое заблужденіе. Богу совсѣмъ не нужно быть самымъ сильнымъ, самымъ первымъ. Онъ, пожалуй, и это было бы понятно и согласно съ здравымъ смысломъ — не хотѣлъ бы быть слабѣе другихъ, чтобъ не подвергнуться насилію, но нѣтъ никакого основанія приписывать ему честолюбіе или тщеславіе. И нѣтъ, значитъ, никакого основанія думать, что онъ не выноситъ равныхъ себѣ, хочетъ быть превыше всѣхъ и во что бы то ни стало уничтожить дьявола. Вѣроятно же всего, что онъ живетъ въ мирѣ и добромъ согласіи даже съ тѣми, которые менѣе всего приспособляются къ

его вкусамъ и привычкамъ. Можетъ быть, даже радуется, что не всѣ такіе, какъ онъ, и охотно дѣлитъ съ сатаной свои владѣнія. Тѣмъ болѣе, что отъ такого дѣленія никто ничего не проигрываетъ, ибо безконечное (владѣнія Бога безконечны, я это признаю), раздѣленное на два и даже на какое угодно большое конечное число, даетъ въ результатѣ все-таки безконечность.

Теперь мы можемъ вернуться къ первоначальному вопросу и, кажется, даже дать на него отвѣтъ—два отвѣта даже, одинъ отъ имени *sapientium*, другой отъ имени *profanorum*. Для первыхъ философія есть искусство ради искусства. Каждый философъ старается создать стройную, разнообразную, интересно и красиво построенную систему, пользуясь, какъ матеріаломъ для постройки, собственнымъ внутреннимъ опытомъ, а также личными и чужими наблюденіями надъ внѣшней жизнью. Философъ тоже въ своемъ родѣ художникъ, для котораго его произведеніе дороже всего на свѣтѣ, иногда дороже жизни. Сплошь и рядомъ видимъ мы, что философы безъ колебанія ради своего дѣла жертвуютъ чѣмъ угодно, даже истиной. Иное дѣло профаны. Для нихъ философія—точнѣе то, что они назвали бы философіей, если бы владѣли научной терминологіей, есть послѣднее прибіжище. Когда матеріальныя силы расточены,

когда нечѣмъ больше бороться за отнятыя права,—они бѣгутъ за помощью и поддержкой въ то именно мѣсто, котораго они больше всего чурались прежде. | Напримѣръ, Наполеонъ на островѣ Елены. Онъ, всю жизнь свою собиравшій солдатъ и пушки, когда его связали по рукамъ и по ногамъ, сталъ философствовать. Конечно, онъ дѣйствовалъ въ этой области какъ начинающій, очень неопытный и даже, смѣшно сказать, какъ трусливый новичокъ.

Онъ, не боявшійся ни чумныхъ больныхъ, ни вражескихъ пуль, боялся, какъ извѣстно, темной комнаты. Привычные къ философіи люди, Шопенгауэръ хотя бы, тѣ ходятъ по темнымъ комнатамъ смѣло и увѣренно, хотя отъ выстрѣловъ и даже менѣе опасныхъ вещей сторонятся. Такъ вотъ, говорю, великій полководецъ, чуть ли не всеевропейскій императоръ Наполеонъ философствовалъ на островѣ св. Елены и даже дошелъ до того, что сталъ заискивать у нравственности, полагая, очевидно, что отъ нея зависить его дальнѣйшая судьба. Онъ увѣрялъ ее, что ради нея и только ради нея онъ затѣвалъ всѣ свои злодѣйскія дѣла—онъ, который до тѣхъ поръ, пока на головѣ его была корона, и въ рукахъ побѣдоносная армія, едва ли даже зналъ о существованіи нравственности. Но это такъ понятно! Въ 45 лѣтъ попасть въ совер-

шенно новую и незнакомую область, конечно все будетъ казаться страшнымъ и даже безплотную нравственность примешь за властительницу судебъ. И будешь думать, что ее можно обольстить сладкими рѣчами и ложными общаніями, какъ свѣтскую даму. Но это были первые шаги непривычнаго человѣка. Наполеону такъ же было трудно овладѣть философіей, какъ Карлу Великому на склонѣ лѣтъ научиться писать. Но онъ зналъ, зачѣмъ пришелъ въ новое мѣсто, и ни Платонъ, ни Спиноза, ни Кантъ не переубѣдили бы его. Можетъ, сначала, пока еще не привыкъ къ темнотѣ, онъ бы для виду согласился съ признанными авторитетами, думая, что и здѣсь, какъ тамъ, гдѣ онъ жилъ прежде, высокопоставленныя особы не терпятъ возраженій, можетъ быть, онъ бы лгалъ передъ ними, какъ лгалъ передъ нравственностью—но дѣла своего онъ бы не забылъ. Онъ пришелъ къ философіи съ требованіями и не успокоился бы до тѣхъ поръ, пока не получилъ бы своего. Онъ уже видѣлъ однажды, какъ корсиканскій поручикъ сталъ французскимъ императоромъ. Почему же сраженному императору не вступить въ послѣднюю борьбу?.. И примириться на самоотреченіи? Философія уступить, нужно только не сдаваться внутренно: такъ приходятъ къ философіи Наполеоны и такъ они ее понимаютъ. И

впредь до доказательства противнаго ничего не можетъ помѣшать намъ думать, что Наполеоны правы и что, стало быть, академическая философія не есть послѣднее, не есть даже предпослѣднее слово. Ибо, можетъ быть, послѣднее слово таятъ про себя неумѣющіе говорить, но смѣлые, настойчивые, непримиримые люди.

VIII.

Генрихъ Гейне. Больше ста лѣтъ прошло съ рожденія и пятьдесятъ лѣтъ послѣ смерти этого замѣчательнаго человѣка, а исторія литературы до сихъ поръ не свела съ нимъ окончательныхъ счетовъ. Даже нѣмцы—его соотечественники (пожалуй, нѣмцы въ особенности), никакъ не могутъ сговориться въ оцѣнкѣ его дарованія. Одни его считаютъ гениемъ, другіе—бездарностью и пошлякомъ. Притомъ враги его до сихъ поръ, какъ и когда-то, вносятъ въ свои нападки столько страсти, какъ если бы они воевали не съ мертвымъ, а съ живымъ противникомъ. И ненавидятъ его за то, за что его ненавидѣли его современники. Какъ извѣстно, главнымъ образомъ Гейне не прощали неискренности. Никто не зналъ, когда онъ говоритъ серьезно, когда шутитъ, что любитъ, что ненавидитъ и,

наконецъ, не было никакой возможности выяс-
нить, вѣрить ли онъ въ Бога или не вѣрить.
Нужно признаться, что въ значительной части
своихъ обвиненій нѣмцы были правы. Я очень
цѣню Гейне, по моему мнѣнію, онъ одинъ изъ
величайшихъ нѣмецкихъ поэтовъ, но, тѣмъ не
менѣе, я не берусь съ увѣренностью сказать, что
онъ любилъ, во что вѣрилъ и часто не могу
рѣшить, насколько серьезно высказываетъ онъ
то или иное сужденіе. Тѣмъ не менѣе, я нико-
имъ образомъ не могу усмотрѣть въ его сочи-
неніяхъ неискренности. Наоборотъ, тѣ особен-
ности его, которыя такъ раздражали нѣмцевъ,
и въ которыхъ они видятъ несомнѣнные при-
знаки неискренности, въ моихъ глазахъ явля-
ются доказательствами его удивительной, един-
ственной въ своемъ родѣ правдивости. По моему
мнѣнію, если нѣмцы впали въ ошибку и ложно
поняли Гейне, то причина этому гипертрофія са-
молюбія и власть предразсудковъ. Обычная ма-
нера Гейне—начать рѣчь совершенно серьезно и
закончить ѣдкой насмѣшкой, сарказмомъ. Кри-
тики и читатели, обыкновенно по началу не до-
гадывающіеся, что ихъ ждетъ въ концѣ, прини-
мали неожиданный смѣхъ на свой счетъ и это
страшно оскорбляло ихъ. Уязвленное самолюбіе
никогда не прощаетъ, не могли и нѣмцы про-
стить Гейне его насмѣшекъ. А между тѣмъ Гейне

рѣдко оскорблялъ другихъ, большинство его насмѣшекъ, главнымъ образомъ, относятся къ нему самому, въ особенности въ произведеніяхъ послѣдняго періода его творчества, той эпохи, когда онъ жилъ въ «Matrazengruft». У насъ вѣдь тоже многіе обижались на Гоголя, полагая, что онъ ихъ высмѣиваетъ. Потомъ онъ признался, что описывалъ самого себя. И непостоянство сужденій Гейне вовсе не доказываетъ его неискренности. Онъ далеко не всегда имѣлъ намѣреніе дразнить филистеровъ. Онъ въ самомъ дѣлѣ не зналъ, во что ему вѣрить, онъ въ самомъ дѣлѣ мѣнялъ свои вкусы и привязанности и даже не всегда навѣрное зналъ, чему онъ въ настоящій моментъ отдаетъ предпочтеніе. Разумѣется, еслибъ онъ захотѣлъ, онъ могъ бы притвориться послѣдовательнымъ и постояннымъ. Или, если бы онъ былъ менѣе зоркимъ, онъ могъ бы, какъ это случается съ огромнымъ множествомъ людей, усвоить себѣ разъ навсегда парадныя, показныя мысли, и неизмѣнно ихъ проповѣдывать, нисколько не сличая ихъ со своими дѣйствительными переживаніями и настроеніями. Очень многіе люди считаютъ, что такъ именно и должно поступать, что нужно высказывать (особенно въ литературѣ) только парадныя, казовыя, возвышенныя, еще съ незапамятныхъ временъ возвышенныя мудрецами мысли, нисколько не спра-

вляясь о томъ, соотвѣтствуютъ ли онѣ ихъ собственной природѣ или не соотвѣтствуютъ. Часто жестокіе, мстительные, злопамятные, себялюбивые, мелочные люди bona fide восхваляютъ въ своихъ сочиненіяхъ доброту, всепрощеніе, любовь къ врагамъ, щедрость, великодушіе, а о своихъ вкусахъ и страстяхъ—ни слова. Они увѣрены, что страсти существуютъ лишь затѣмъ, чтобы ихъ подавлять, скрывать, проявлять же и выставлять напоказъ нужно только убѣжденія. Подавить страсти рѣдко удастся, скрыть же, въ особенности въ книгахъ, очень легко. И такого рода скрытность не только не преслѣдуется, но, какъ извѣстно, поощряется. Получается столь обычная и знакомая картина: въ жизни страсти судятъ «убѣжденія», въ книгахъ «убѣжденія» или, какъ говорятъ, идеалы судятъ и осуждаютъ страсти. Подчеркиваю, что большинство писателей убѣждены, что ихъ задача—не рассказывать о себѣ, а воспѣвать идеалы. Искренность Гейне была, дѣйствительно, иной. Онъ рассказывалъ о себѣ все или почти все. И это считалось до такой степени возмутительнымъ, что присяжные охранители обычаевъ и добрыхъ нравовъ считали себя оскорбленными въ своихъ лучшихъ возвышеннѣйшихъ чувствахъ. Имъ казалось, что если бы Гейне удалось приобрѣсть большое вліяніе въ литературѣ и овладѣть умами современ-

никовъ, то это было бы величайшимъ несча-
стіемъ. Рушились бы устои, съ такимъ трудомъ
въ теченіе столѣтій созданные совокупными уси-
ліями лучшихъ представителей націи. Это, по-
жалуй, правильно: возвышенное благолѣпіе жизни
сохраняется лишь при непремѣнномъ условіи ли-
цемѣрія. Чтобъ было красиво, нужно многое
скрывать, припрятывать какъ можно дальше и
глубже. Больныхъ и сумасшедшихъ нужно за-
гонять въ больницы, нищету—въ подвалы, не-
покорныя страсти—въ глубину души. Правдѣ и
свободѣ разрѣшается лишь постольку заявлять
о себѣ, поскольку это совмѣстимо съ интересами
благоустроенной, внѣшне и внутренне, жизни.
Протестантство это понимало не хуже, а то и
лучше, чѣмъ католичество. Строгій пуританизмъ
возвелъ душевную дисциплину въ высшій нрав-
ственный законъ, который съ неумолимымъ, без-
пощаднымъ деспотизмомъ правилъ жизнью. ✓
Бракъ, семья, а не любовь должна быть цѣлью
человѣка, а бѣдная Гретхенъ, отдавшаяся Фаусту
безъ соблюденія установленныхъ обрядовъ, при-
нуждена была сама считать себя навѣки осу-
жденной. Внутренняя дисциплина, еще болѣе, чѣмъ
внѣшняя, представляемая тюремщиками и пала-
чами, оберегала устои и давала крѣпость и силы
какъ государству, такъ и народу. Людей не ща-
дили, съ ними и не считались. Сотни, тысячи

Гретхенъ обоихъ половъ отдавались и понынѣ безъ сожалѣнія отдаются въ жертву «высшихъ духовныхъ интересовъ». Признаніе, уваженіе къ описанному порядку вещей до такой степени вкоренилось въ души нѣмцевъ (я говорю нѣмцевъ, потому что едва ли есть на землѣ еще одинъ столь дисциплинированный народъ), что ему покорялись даже наиболѣе независимые характеры. Самымъ страшнымъ грѣхомъ считается не нарушеніе закона (всякое нарушеніе, объясняемое, какъ у Гретхенъ, слабостью и только слабостью, хотя и не прощалось, но менѣе строго осуждалось), а бунтъ противъ закона, открытое и дерзновенное нежеланіе повиноваться, хотя бы выразившееся въ незначительномъ поступкѣ. И потому всякій обыкновенно стремится прежде всего доказать свою лойяльность съ этой именно стороны. Въ большей или меньшей степени всѣ отступали отъ закона, но чѣмъ больше приходилось нарушать законъ въ поступкахъ, тѣмъ обязательнѣй считалось восхваленіе его на словахъ. И такой порядокъ вещей ни въ комъ не возбуждалъ ни подозрѣнія, ни неудовольствія. Онъ казался естественнымъ и высоко нравственнымъ. Въ немъ видѣли признаніе первенства духа передъ тѣломъ, разума передъ страстями. А такого вопроса: да точно ли духъ долженъ побѣждать тѣло и разумъ страсти? никто никогда и

не задавалъ. И когда Гейне позволилъ себѣ такой вопросъ поставить и по-своему разрѣшить, на него обрушилась вся сила негодованія нѣмцевъ. И прежде всего заподозрѣли его искренность и правдивость. «Не можетъ быть, — говорили благочестивые люди, — чтобъ онъ въ самомъ дѣлѣ не признавалъ закона. Онъ только притворяется». Такое предположеніе было тѣмъ болѣе естественно, что тонъ Гейне далеко не всегда звучалъ твердымъ убѣжденіемъ; у него, на примѣръ, есть стихотвореніе, заканчивающееся слѣдующими словами: «тѣла, тѣла ищю я, молодого и нѣжнаго тѣла. Душу можете хоть совсѣмъ въ землю зарыть, — души у меня самого достаточно». Стихотвореніе до послѣдней степени дерзкое и вызывающее, но въ немъ, какъ и во всѣхъ дерзкихъ и вызывающихъ стихотвореніяхъ Гейне, слышенъ рѣзкій смѣхъ, хохотъ, который нужно понимать, какъ выраженіе раздвоенности, какъ насмѣшку надъ собой. Онъ же рассказываетъ о своей встрѣчѣ съ двумя женщинами: матерью и дочерью. Обѣ хороши: мать тѣмъ, что уже многое знаетъ, дочь — невинностью. И вотъ поэтъ стоитъ межъ ними, по его собственному выраженію, какъ бuriдановъ осель межъ двумя вязанками сѣна. Опять дерзость, опять хохотъ — и уравновѣшенный нѣмецъ снова раздражается. Онъ предпочелъ бы, чтобъ о та-

кихъ настроеніяхъ никто никогда не рассказывалъ. Но если уже рассказывать, то, по крайней мѣрѣ, въ покаянномъ тонѣ, съ самобичеваніемъ. Неумѣстный же смѣхъ Гейне неприличенъ и лишь безъ нужды разстраиваетъ. Повторяю, самъ Гейне далеко не всегда былъ увѣренъ, что его «искренность» законна. Еще въ молодости онъ рассказывалъ, что вдоль души его, какъ вдоль всего міра прошла трещина, расколовшая на-двое единство прежнихъ настроеній. Царь Давидъ, когда славилъ Господа и добро, не вспоминалъ о своихъ темныхъ дѣлахъ (ихъ вѣдь у него было не мало) и, если вспоминалъ, то лишь за тѣмъ, чтобъ каяться. И онъ былъ двойственъ, но умѣлъ наблюдать послѣдовательность. Когда онъ плакалъ, онъ не могъ и не хотѣлъ радоваться, когда каялся, онъ уже былъ далекъ отъ грѣха, когда молился—онъ не кощунствовалъ, когда вѣрилъ—не сомнѣвался. Нѣмцы, воспитанные на псалмахъ великаго царя, привыкли думать, что иначе не можетъ и не должно быть. Они допускали еще слѣдованіе различныхъ, даже противоположныхъ душевныхъ состояній, но одновременное ихъ существованіе казалось имъ немыслимымъ и отвратительнымъ, противорѣчащимъ божескимъ заповѣдямъ и законамъ логики. Казалось, что все, что прежде существовало раздѣльно, смѣшалось, что мѣсто строгой

гармоніи занялъ нелѣпый хаосъ. И что такое положеніе вещей грозитъ неисчислимыми бѣдствами. Они не допускали мысли, что самъ Гейне могъ не понимать этого, въ его творествѣ видѣли проявленіе лживой и злой воли и взывали къ человѣческому и божескому суду. Обывательское раздраженіе дошло до крайней степени, когда выяснилось, что Гейне не смирился даже передъ лицомъ смерти. Разбитый параличемъ, лежалъ онъ въ своей «матрацной могилѣ», не въ силахъ пошевелить ни однимъ членомъ, испытывалъ величайшія физическія муки, не имѣя надежды не только на исцѣленіе, но даже на облегченіе, и все попрежнему продолжалъ кощунствовать. Хуже того, съ каждымъ днемъ его сарказмы становились все безпощаднѣе, ядовитѣе, утонченнѣе. Казалось бы, уничтоженному и раздавленному человѣку оставалось только признать себя побѣжденнымъ и всецѣло предать себя великодушію побѣдителя. Но въ немогущей плоти жилъ сильный духъ. Всѣ помыслы его были устремлены къ Богу, тяжелую десницу и власть котораго онъ, какъ и всякій умирающій человѣкъ, не могъ не ощущать на себѣ. Но его мысли о Богѣ, его отношеніе къ Богу были до такой степени своеобразны, что посторонніе серьезные люди только пожимали плечами. Такъ съ Богомъ никто не разговаривалъ ни вслухъ, ни

про себя. Обыкновенно мысль о Богѣ внушаетъ смертнымъ либо трепеть, либо умиленіе, и потому они либо падаютъ ницъ передъ Нимъ и умоляютъ о прощеніи, либо славословятъ. У Гейне нѣтъ ни молитвъ, ни славословія. Его стихотворенія проникнуты особымъ, одному ему свойственнымъ очаровательнымъ и граціознымъ цинизмомъ. Онъ не хочетъ признать грѣхи свои, даже теперь, на порогѣ въ иную жизнь, онъ остается тѣмъ же, чѣмъ былъ въ молодости. Онъ не хочетъ ни рая, ни блаженства на небесахъ—онъ проситъ Бога вернуть ему здоровье и поправить его денежныя дѣла. «Я знаю, что на землѣ много зла и пороковъ. Но я уже привыкъ ко всему этому, да къ тому же рѣдко покидаю свою комнату. Оставь меня, Господи, здѣсь, но излѣчи только отъ болѣзней и избавь отъ нужды», пишетъ онъ въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ стихотвореній. Онъ высмѣиваетъ легенды о блаженной жизни въ раю безгрѣшныхъ душъ. «Сидѣть на облакахъ и распѣвать псалмы,—объясняетъ онъ,—для меня совсѣмъ неподходящее времяпрепровожденіе». Онъ вспоминаетъ прекрасную богиню изъ Лувра (Венеру Милосскую) и славословитъ ее, какъ въ дни юности. Его стихотвореніе «Das Hohelied» (Пѣсня пѣсней), смѣсь величайшаго цинизма, возвышенности, отчаянія и неслыханнаго сарказма. Не

знаю, приходили ли въ голову умирающимъ людямъ мысли, подобныя тѣмъ, которыя высказаны въ этомъ стихотвореніи, но съ увѣренностью заявляю, что никто въ литературѣ не высказывалъ ничего подобнаго. Въ стихотвореніи Гете «Прометей» далеко нѣтъ той вызывающей, непоколебимой, спокойной гордости и сознанія своихъ правъ, которыя вдохновляли автора «Das Hohelied». Богъ, сотворившій небо, землю и человѣка на землѣ, Богъ воленъ сколько угодно терзать мое тѣло и мою душу, но я самъ знаю, чего мнѣ нужно, чего я хочу, я самъ рѣшаю, что хорошо, что дурно. Таковъ смыслъ этого стихотворенія, таковъ смыслъ всего, что писалъ Гейне въ послѣдніе годы своей жизни. Онъ зналъ, какъ знаютъ всѣ, что по философскимъ, этическимъ и религіознымъ ученіямъ условіемъ спасенія души считается раскаяніе и смиреніе, готовность хотя бы въ послѣднюю минуту жизни отречься отъ «грѣховныхъ желаній». И тѣмъ не менѣе, въ послѣднюю минуту онъ не хочетъ признать надъ собою власть тысячелѣтнихъ міровыхъ авторитетовъ. Онъ смѣется и надъ моралью, и надъ философіей, и надъ существующими религіями. Мудрецы такъ думаютъ, мудрецы хотятъ жить по-своему—пусть думаютъ, пусть живутъ. Но кто далъ имъ право требовать покорности отъ меня? И можетъ ли быть у нихъ

сила, нужная, чтобъ привести меня къ покорности? Прислушиваясь къ словамъ умирающаго, не повторимъ ли мы за нимъ его вопросъ? И не сдѣлаемъ ли мы еще шагъ впередъ? Гейне раздавленъ и, если вѣрить (есть всѣ основанія вѣрить) тому, что онъ рассказываетъ въ своей «Пѣснѣ пѣсней», его мучительная и тяжелая болѣзнь была непосредственнымъ слѣдствіемъ и результатомъ его образа жизни. Значить ли это, что и дальше (если будетъ какое-нибудь «дальше») его ждутъ новыя преслѣдованія вплоть до тѣхъ поръ, пока онъ добровольно не приспособится къ возвѣщенной или завѣщанной морали? Вообще, въ правѣ ли мы предполагать, что гдѣ-нибудь во вселенной озабочены мыслью о томъ, чтобы перекроить всѣхъ до послѣдняго людей на одинъ манеръ? Можетъ быть, упорство Гейне указываетъ на совсѣмъ иныя намѣренія властителей судебъ. Можетъ, болѣзни и мученія, уготованныя здѣсь для тѣхъ, которые противятся хомутамъ и шаблонамъ (эмпирическія наблюденія съ достаточной несомнѣнностью устанавливаютъ тотъ фактъ, что всякія отклоненія отъ нормы и большой дороги съ неизбѣжностью влекутъ за собой страданіе и гибель), есть только испытаніе человѣческаго духа. Кто выдержитъ ихъ, кто отстоитъ себя, не испугавшись ни Бога, ни дьявола съ его прислужниками—тотъ вой-

детъ побѣдителемъ въ иной міръ. Мнѣ даже порой кажется, что «тамъ», въ противоположность существующему мнѣнію, особенно любятъ и цѣнятъ упорныхъ и непреклонныхъ—отъ смертныхъ же эта тайна скрыта для того, чтобы слабые и уступчивые не вздумали представляться упорными, чтобъ заслужить расположеніе боговъ. Тотъ же, кто не выдержитъ, отречется отъ себя, того ждетъ судьба, о которой обыкновенно мечтаютъ философы-метафизики: онъ сольется съ первоединымъ, растворится въ сущности бытія вмѣстѣ съ массой себѣ подобныхъ индивидуумовъ. Я склоненъ думать, что метафизическія теоріи, проповѣдующія самоотреченіе во имя любви и любовь во имя самоотреченія, отнюдь не простое пустословіе, какъ утверждаютъ позитивисты. Въ нихъ есть глубокій и таинственный, мистическій смыслъ, въ нихъ скрыта великая истина. Ихъ ошибка лишь въ томъ, что онѣ претендуютъ на безусловность. Люди почему-то рѣшили, что эмпирическихъ истинъ много, а метафизическая только одна. Метафизическихъ истинъ тоже много. Онѣ очень непохожи другъ на дружку, но это нисколько не мѣшаетъ имъ отлично уживаться межъ собой. Эмпирическія истины, какъ и всѣ земныя существа, вѣчно ссорятся и безъ высшаго начальства не могутъ обойтись. Но метафизическія истины устроены

✓

иначе и совсѣмъ не знаютъ нашего соревнова-
нія. Несомнѣнно, что люди, тяготящіеся своей
индивидуальностью и жаждущіе самоотреченія,
безусловно правы. Всѣ вѣроятности за то, что
въ концѣ концовъ они своей цѣли добьются и
сольются съ чѣмъ имъ слиться полагается, со
своими ближними или съ дальними, или, можетъ
быть, какъ хотятъ пантеисты, даже съ неоду-
шевленной природой. Но въ такой же мѣрѣ вѣ-
роятно, что тѣ люди, которые своей индивиду-
альностью дорожатъ и не соглашаются отъ нея
отказаться ни ради своихъ ближнихъ, ни ради
возвышенной идеи, сохранять себя и останутся
собой, если не навѣки вѣчные, то на болѣе или
менѣе продолжительный срокъ, пока имъ не на-
доѣстъ. Такъ что нѣмцамъ, по крайней мѣрѣ,
тѣмъ нѣмцамъ, которые оцѣнивали Гейне не съ
утилитарной точки зрѣнія (съ этой точки зрѣнія
даже и я всецѣло осуждаю его и не пахожу для
него никакихъ оправданій), а съ возвышенной,
религіозной или метафизической, какъ принято
въ наше время, сердиться на него не приходится.
Онъ имъ помѣшать никакъ не можетъ. Они
сольются, всѣ до послѣдняго, навѣрное, сольются
въ идею, Ding an sich, субстанцію или иное за-
манчивое единство, и не Гейне съ его сарказ-
мами помѣшать ихъ возвышеннымъ стремленіямъ.
А если онъ самъ и ему подобные упорствующіе

гдѣ-нибудь въ сторонѣ будутъ продолжать жить по-своему и даже высмѣивать идеи — неужели это можетъ служить предметомъ серьезнаго огорченія?

IX.

Что есть истина? Скептики утверждаютъ, что нѣтъ и не можетъ быть истины, и это утверждение до того вѣлось въ современные умы, что единственной распространенной философіей въ наше время является философія Канта, взявшая своимъ исходнымъ пунктомъ скептицизмъ. Но прочтите внимательно предисловіе къ первому изданію «Критики чистаго разума», и вы убѣдитесь, что вопросъ о томъ, что есть истина вовсе и не занималъ его. Ему нужно было только разрѣшить вопросъ, какъ быть человѣку, который убѣдился въ невозможности отыскать объективную истину. Старая метафизика съ ея произвольными, бездоказательными утвержденіями, въ самомъ дѣлѣ не выдерживавшими никакой критики, раздражала Канта, и онъ рѣшилъ хотя бы признаніемъ относительной правоты скептицизма отдѣлаться отъ ненаучной дисциплины, которую ему, по положенію преподавателя философій, приходилось представлять. Но увѣренность скептиковъ и уступчивость Канта насъ ровно ни къ

чему не обязывается. Да и самъ Кантъ въ концѣ концовъ не выполнилъ принятыхъ обязательствъ. Ибо, разъ неизвѣстно, что такое истина, какой смыслъ имѣютъ постулаты Бога, безсмертія души? Какъ можно оправдывать, объяснять какую бы то ни было изъ существующихъ религій, даже христіанство? Хотя Евангеліе совершенно не мирится съ нашими научными представленіями о законахъ природы, но оно не включаетъ въ себѣ ничего противнаго разуму. Чудесамъ не вѣрятъ не потому, чтобъ они были немыслимы. Наоборотъ, даже самому простому здравому смыслу совершенно ясно, что основа міра, жизнь—есть чудо изъ чудесъ. И если бы задача философіи сводилась лишь къ тому, чтобъ доказать возможность чуда, то дѣло ея давно и блестяще было бы сдѣлано. Все горе въ томъ, что людямъ видимыхъ чудесъ мало, а изъ того, что многія чудеса уже были, никакъ нельзя заключить, что и другія, безъ которыхъ прямо невозможно бываетъ иной разъ жить, тоже въ свое время наступятъ. Люди рождаются—несомнѣнно великое чудо, существуетъ прекрасный міръ—тоже чудо изъ чудесъ. Но развѣ отсюда слѣдуетъ, что люди воскреснутъ послѣ смерти и что для нихъ уготовленъ рай? Въ воскрешеніе Лазаря въ наше время не очень вѣрятъ даже тѣ, кто благоговѣетъ передъ Евангеліемъ, по-

вторяю, не потому, что не допускаютъ вообще возможности чуда, а потому, что никакъ не могутъ рѣшить а priori, какія чудеса возможны, какія невозможны и, слѣдовательно, принуждены судить а posteriori: какое чудо было, то охотно признаютъ, а какого не было—въ томъ сомнѣваются и тѣмъ болѣе сомнѣваются, чѣмъ глубже и страстнѣе желаютъ его. Ничего не стоитъ увѣровать въ окончательное торжество добра на землѣ (хотя это было бы несомнѣннымъ чудомъ), въ прогрессъ, въ непогрѣшимость папы (тоже вѣдь чудеса и не малыя!), ибо après tout, люди довольно-таки равнодушны и къ добру, и къ прогрессу, и къ папскимъ добродѣтелямъ. Гораздо труднѣе, прямо невозможно повѣрить передъ трупомъ близкаго и дорогого человѣка, что слетитъ съ неба ангелъ и воскреситъ покойника, хотя міръ полонъ явленій не менѣе чудесныхъ, чѣмъ воскрешеніе умершаго. Стало быть, скептики не правы, когда утверждаютъ, что нѣтъ истины. Истина-то есть, только мы не знаемъ ея во всемъ объемѣ, а что знаемъ, того никакъ обосновать не можемъ, т.-е. не можемъ себѣ представить, почему произошло такъ именно, а не иначе, и въ самомъ ли дѣлѣ то, что произошло, должно было именно такъ произойти, какъ произошло, или могло произойти что-либо совсѣмъ иное. Когда-то думали, что дѣйствитель-

ность подчиняется законамъ необходимости, но Юмъ объяснилъ, что понятіе необходимости субъективно и поэтому, какъ обманчивое, подлежитъ устраненію. Его мысль подхватилъ (безъ вывода только) и обобщилъ Кантъ. Всѣ тѣ наши сужденія, которыя имѣютъ характеръ всеобщности и необходимости, приобрѣтаютъ таковой только въ силу нашей душевной организаціи. То-есть именно въ тѣхъ случаяхъ, когда мы особенно убѣждены въ объективномъ значеніи сужденія,—мы какъ разъ имѣемъ дѣло съ чисто субъективной, хотя неизмѣнной и прочной для видимаго міра увѣренностью.) Вывода Юма Кантъ, какъ извѣстно, не принялъ, т.-е. онъ не только не сдѣлалъ попытки выкорчевать изъ нашего умственного обихода ложныя предпосылки (какъ сдѣлалъ Юмъ съ понятіемъ необходимости), но, наоборотъ, объявилъ, что такое предпріятіе совершенно неосуществимо. Практическій разумъ подсказалъ Канту, что хотя по своему источнику основы нашихъ сужденій неизмѣнно ложны, но ихъ неизмѣнность можетъ сослужить огромную службу въ мірѣ явленій, т.-е. на пространствѣ между рожденіемъ и смертію человѣка. Если человѣкъ жилъ до рожденія (какъ думалъ Платонъ) и будетъ существовать послѣ смерти, то его «истины» ему тамъ, въ иномъ мірѣ не были и не будутъ нужны, но здѣсь онѣ пригодятся. А какія тамъ

есть истины, и есть ли тамъ истины, Кантъ объ этомъ только дѣлаетъ догадки, которыя ему удаются единственно благодаря его готовности отказать отъ послѣдовательности въ заключеніяхъ. Онъ вдругъ даетъ вѣрѣ такія огромныя права для сужденія объ умопостигаемомъ мірѣ, о которыхъ она никогда и мечтать не могла бы, если бы не была принята подъ особое покровительство самимъ философомъ. Отчего вѣра можетъ то, чего не можетъ разумъ? И еще болѣе коварный вопросъ: не изобрѣтаетъ ли всѣ постулаты тотъ же разумъ, лишенный правъ въ первой «критикѣ» и получившій въ послѣдствіи *restitutio in integrum* подъ условіемъ перемѣны фирмы? Послѣднее предположеніе наиболѣе вѣроятно. А разъ такъ, то, стало быть, въ умопостигаемомъ мірѣ, столь тщательно отдѣленномъ Кантомъ отъ міра явленій, мы найдемъ не только много новаго, но и не мало и стараго.

Вообще, повидимому, предположеніе, что нашъ міръ есть только міръ на мгновеніе, краткое сновидѣніе, совсѣмъ не похожее на дѣйствительную жизнь,—ошибочно. Это предположеніе, впервые высказанное Платономъ, потомъ развитое и поддержанное многочисленными представителями философской и религіозной мысли, не имѣетъ за собой никакихъ рѣшительно данныхъ. Платономъ руководило желаніе освободить жизнь отъ

нѣкоторыхъ явно раздражающихъ несовершенствъ. Дѣло хорошее, что и говорить. Но, какъ это часто бываетъ, какъ только желаніе облеклось въ слова, оно тѣмъ самымъ приняло слишкомъ рѣзкое и прямолинейное выраженіе, такъ что перестало быть похожимъ на себя. Сущность истинной, изначальной и загробной жизни представляется Платону какъ абсолютное, отдѣленное отъ всякихъ примѣсей добро, какъ эссенція добродѣтели. И вѣдь, въ концѣ концовъ, самъ Платонъ не въ силахъ вынести чистую пустоту идейнаго существованія и постоянно приправляетъ ее элементами, отнюдь не идеальными, что и придаетъ интересъ и напряженіе его діалогамъ. Если вы, никогда не имѣвъ случая читать самого Платона, ознакомитесь съ его философіей по ученію кого-либо изъ его поклонниковъ и цѣнителей, вы будете поражены его безсодержательностью. Прочтите прославленную толстую книгу Наторпа и вы убѣдитесь, что стоитъ «очищенное» ученіе Платона! И вообще, къ слову сказать, я рекомендую методъ привѣрки идей знаменитыхъ философовъ: знакомиться съ ними не только по подлиннымъ сочиненіямъ, но и въ изложеніи учениковъ, особенно вѣрующихъ и добросовѣстныхъ учениковъ. Когда очарованіе личности и таланта исчезаетъ, и остается голая, неприкрытая «истина»

(ученики всегда вѣрятъ, что учитель зналъ «истину», и показываютъ ее безъ всякихъ прикрасъ, даже безъ фиговаго листа), тогда только становится ясно, какъ мало имѣютъ значенія основныя «мысли» даже самыхъ прославленныхъ философовъ! Еще очевиднѣй это становится, когда вѣрующій ученикъ начинаетъ дѣлать выводы изъ положеній учителя: чѣмъ логичнѣй, добросовѣстнѣй его выводы, тѣмъ вѣрнѣе онъ компрометируетъ своего учителя. Сочиненіе упомянутаго Наторпа, большого знатока Платона, есть *reductio ad absurdum* идей послѣдняго. Платонъ оказывается послѣдовательнымъ неокантіанцемъ, ученымъ и ограниченнымъ, прошедшимъ хорошую школу въ Фрейбургѣ или Гейдельбергѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оказывается, что идеи Платона въ ихъ чистомъ видѣ отнюдь не выражаютъ его дѣйствительнаго отношенія къ міру и жизни. Нужно брать всего Платона съ его противорѣчіями и непослѣдовательностью, съ его пороками и добродѣтелями, и недостатками его, по крайней мѣрѣ, настолько же дорожить, какъ и достоинствами. А то, пожалуй, даже прибавить ему одинъ-другой недостатокъ и проглядѣть хоть одну изъ его добродѣтелей. Ибо, вѣроятно, онъ какъ человѣкъ, которому не чуждо все человѣческое, постарался прибавить себѣ добродѣтелей, которыхъ у него не было, и скрыть кой-какіе

пороки. Такъ нужно поступать и съ другими учителями мудрости и ихъ ученіями. Тогда «иной міръ» не окажется столь безнадежно отдѣленнымъ отъ нашей земной юдоли. И, быть можетъ, найдутся кой-какія эмпирическія истины, вопреки Канту, общія обоимъ мірамъ. Тогда, стало быть, вопросъ Пилата потеряетъ долю своей всепобѣждающей увѣренности. Ему нужно было умыть руки, и онъ спросилъ, что такое истина. Послѣ него, и до него многіе, которымъ не хотѣлось бороться, придумывали умные вопросы и опирались на скептицизмъ. Межъ тѣмъ всякій знаетъ, что истина есть и даже можетъ иной разъ опредѣлить и формулировать понятіе о ней съ той ясностью и отчетливостью, которой требовалъ Декартъ. Предѣлы чудеснаго ограничиваются тѣми чудесами, которыя мы уже видѣли на землѣ, или они гораздо шире? И если шире, то насколько?

X.

Еще объ истинѣ. Можетъ быть, истина по своей природѣ такова, что по поводу нея общеніе между людьми невозможно, по крайней мѣрѣ, привычное общеніе при посредствѣ слова. Каждый можетъ ее знать про себя, но для того,

чтобы вступить въ общеніе съ ближними, онъ долженъ отречься отъ истины и принять какую-нибудь условную ложь. Однако, важность и значеніе истины нисколько не уменьшается въ силу того, что она не можетъ быть предметомъ рыночной оцѣнки. Даже, наоборотъ, пожалуй, возрастаетъ. Когда у васъ спрашиваютъ, что такое истина, вы не умѣете дать отвѣтъ на этотъ вопросъ, даже въ томъ случаѣ, если вы всю жизнь положили на изученіе философскихъ теорій. Для себя же, когда вамъ никому отвѣчать не нужно, вы отлично знаете, что такое истина. Стало быть, истина по своему характеру нисколько не похожа на эмпирическую истину, и прежде чѣмъ вступать въ область философіи, нужно распрощаться съ научными приемами исканія и съ привычными способами оцѣнки знанія. Словомъ, нужно быть готовымъ принять нѣчто безусловно новое, нисколько не похожее на традиціонное старое. Вотъ почему стремленіе дискредитировать научное знаніе вовсе не такъ уже бесполезно, какъ это можетъ показаться на первый взглядъ неопытному человѣку.

Вотъ почему насмѣшка и сарказмъ оказываются необходимымъ оружіемъ изслѣдователя. Самымъ опаснымъ врагомъ новаго знанія всегда были и будутъ укоренившіяся привычки. Человѣку, съ практической точки зрѣнія, гораздо важ-

не в силах
нѣе знать то, что можетъ ему помочь приспособиться къ временнымъ условіямъ его существованія, чѣмъ то, что имѣетъ значеніе внѣвременное. Инстинктъ самосохраненія всегда оказывается сильнѣй самой искренней жажды познанія. Причемъ нужно помнить, что инстинктъ располагаетъ безчисленными и тончайшими орудіями самозащиты, что подъ командой его находятся рѣшительно всѣ человѣческія способности, начиная отъ безсознательныхъ рефлексовъ вплоть до коронованнаго разума и вѣнценосной совѣсти,— объ этомъ не разъ и много уже говорили, такъ что въ данномъ случаѣ consensus sapientium на моей сторонѣ. Правда, объ этомъ говорили, какъ о нежелательномъ извращеніи человѣческой природы—и тутъ я долженъ протестовать. Я полагаю, что нежелательнаго здѣсь нѣтъ ничего. Нашъ разумъ и наша совѣсть должны почитать для себя за честь возможность находиться въ услуженіи у инстинкта—хотя бы инстинкта самосохраненія. Имъ зазнаваться не слѣдуетъ, да они, по правдѣ сказать, не зазнаются и охотно исполняютъ свое служебное назначеніе. На первенство они претендуютъ только въ книгахъ и дрожатъ при одной мысли о преобладаніи въ жизни. Если бы случайно имъ предоставлена была бы свобода дѣйствій,—они обезумѣли бы отъ ужаса, какъ заблудившіяся ночью въ лѣсу

дѣти. Каждый разъ, когда совѣсть и разумъ принимаются судить самостоятельно, они приходятъ къ уничтожающимъ результатамъ. И тогда они съ удивленіемъ убѣждаются, что и на этотъ разъ они дѣйствовали не свободно, а по указаніямъ все того же инстинкта, но принявшаго другой характеръ. Человѣческой душѣ потребовалась работа разрушенія, и она спустила съ цѣпей рабовъ, которые въ дикомъ восторгѣ принялись праздновать свою свободу дѣломъ великаго разрушенія, нисколько не подозрѣвая, что они попрежнему остались, какъ и были, рабами и работаютъ на другихъ.

Достоевскій давно уже отмѣтилъ, что инстинктъ разрушенія человѣческой душѣ такъ же свойственъ, какъ и инстинктъ созиданія. Предъ лицомъ этихъ двухъ инстинктовъ всѣ наши способности оказываются второстепенными душевными свойствами, нужными лишь при данныхъ, случайныхъ условіяхъ. Отъ истины, какъ признаютъ теперь не только грубые позитивисты, но даже искушенные въ метафизикѣ идеалисты, ничего не осталось, кромѣ идеи о нормѣ. Истина, говоря болѣе выразительнымъ и понятнымъ языкомъ, существуетъ лишь для того, чтобы разъединенные временемъ и пространствомъ люди могли установить хоть какое-нибудь общеніе межъ собой. То-есть человѣку приходится выби-

рать между безусловнымъ одиночествомъ и истинной, съ одной стороны, и общеніемъ съ близкими и ложью—съ другой. Что лучше? спросать. Отвѣчу, что вопросъ праздный. Возможенъ еще третій исходъ: принять и то, и другое, хотя на первый взглядъ это можетъ показаться совершенной несообразностью, особенно для людей, разъ навсегда рѣшившихъ, что логика, какъ и математика, непогрѣшима въ своихъ указаніяхъ. Межъ тѣмъ на самомъ дѣлѣ возможно, мало того, что возможно,—возможностью мы бы не удовлетворились (это только нѣмецкіе идеалисты способны удовлетвориться добромъ, которое нигдѣ и никогда не осуществлялось), а сплошь и рядомъ наблюдается одновременное сосуществованіе самыхъ противорѣчивыхъ душевныхъ состояній. Всѣ люди лгутъ, какъ только начинаютъ говорить: наша рѣчь такъ несовершенно устроена, что въ самомъ принципѣ своего устройства предполагаетъ готовность говорить неправду. И чѣмъ отвлеченнѣе предметъ, тѣмъ степень нашей лживости возрастаетъ, такъ что когда мы касаемся наиболѣе сложныхъ вопросовъ, намъ приходится непрерывно почти лгать, и ложь тѣмъ грубѣе и несноснѣе, чѣмъ искреннѣе человѣкъ. Ибо искренній человѣкъ убѣжденъ, что правдивость обеспечивается отсутствіемъ противорѣчій, и, чтобы не оказаться лжецомъ, старается логи-

чески согласовать свои сужденія, то-есть доводить лживость свою до геркулесовыхъ столбовъ. Въ свою очередь, воспринимая чужія сужденія, онъ примѣняетъ къ нимъ тотъ же критерій и чуть подмѣчаетъ малѣйшее противорѣчіе, начинаетъ простосердечно вопить о нарушеніи основныхъ принциповъ добропорядочности. Что особенно любопытно—вѣдь всѣ, изучавшіе философію (а я здѣсь собственно и преимущественно къ нимъ обращаюсь, какъ читатель, вѣроятно, давно замѣтилъ), ученые люди всѣ прекрасно знаютъ, что до сихъ поръ никому изъ величайшихъ философовъ не удалось окончательно изгнать противорѣчія изъ своей системы. На что уже былъ вооруженъ Спиноза и вѣдь ничего человѣкъ не щадилъ, ни предъ чѣмъ не останавливался, а между тѣмъ его замѣчательная система не выдерживаетъ логической критики: это всѣмъ извѣстно. Казалось бы, слѣдовало поставить вопросъ, да на какого дьявола намъ послѣдовательность, и не являются ли противорѣчія условіемъ истинности міровоззрѣнія? А послѣ Канта его ученики и преемники могли бы спокойно отвѣтить, что послѣдовательность дѣйствительно ни на какого дьявола не нужна, и что истина живетъ противорѣчіями. Между тѣмъ только отчасти Гегель и Шопенгауэръ, каждый на свой ладъ,

попытались сдѣлать такого рода допущенія, но извлекли изъ нихъ мало пользы...

Попробуемъ изъ вышесказаннаго сдѣлать кое-какіе выводы: вѣдь пока логика можетъ быть полезна, отвергать ея услуги было бы ничѣмъ не оправдываемой расточительностью. Выводы же, какъ увидимъ, не лишены интереса. Прежде всего: когда самъ говоришь, никогда не прилаживайся къ тому, что ты говорилъ раньше: это безъ нужды стѣснить твою свободу и безъ того закованную въ слова и грамматическіе обороты. Когда слушаешь собесѣдника или читаешь книги, не придавай большого значенія отдѣльнымъ словамъ и даже цѣлымъ фразамъ. Забудь отдѣльныя мысли, не считайся даже съ послѣдовательно проведенными идеями. Помни, что собесѣдникъ твой и хотѣлъ бы, да не можетъ иначе проявить себя, какъ прибѣгая къ готовымъ формамъ рѣчи. Приглядывайся къ выраженію его лица, прислушивайся къ интонаціи его голоса— это поможетъ тебѣ сквозь слова проникнуть къ его душѣ. Не только въ устной бесѣдѣ, но даже въ написанной книгѣ можно подслушать звукъ, даже и тембръ голоса автора, и подмѣтить мельчайшіе оттѣнки выраженія глазъ и лица его. Не лови на противорѣчіяхъ, не спорь, не требуй доказательствъ: слушай только внимательно. Зато, когда ты станешь говорить, съ тобой тоже не

будутъ спорить и не потребуютъ отъ тебя доказательствъ, которыхъ у тебя, ты это хорошо знаешь, нѣтъ и быть не можетъ. Зато тебя не станутъ донимать указаніями на противорѣчія, которыя, ты знаешь, у тебя были и всегда будутъ и съ которыми тебѣ больно и прямо-таки невозможно разстаться. Зато, зато—и это самое главное—ты, наконецъ, убѣдишься, что истина отъ логики не зависитъ, что логическихъ истинъ и нѣтъ совсѣмъ, что ты въ правѣ, слѣдовательно, искать того, что тебѣ нужно и какъ тебѣ нужно, а не умозаключать, и что, стало быть, въ результатѣ исканій если будетъ что-нибудь, то ужъ никакъ не формула, не правило, не принципъ, не идея! Вѣдь подумайте только: пока задачей исканія является «истина», какъ ее теперь понимаютъ, нужно быть ко всему готовымъ. Примерно къ тому, что правыми окажутся матеріалисты и что, стало быть, въ основѣ міра лежатъ матерія и энергія. Нужды нѣтъ, что мы сейчасъ можемъ разбить матеріалистовъ съ ихъ доводами. Исторія мысли знаетъ много случаевъ полной реабилитаціи заброшенныхъ и опороченныхъ сужденій. Вчерашнее заблужденіе завтра можетъ быть признано истиной, даже самоочевидной. А независимо отъ своего содержанія, чѣмъ плоха система матеріализма? Стройная, послѣдовательная, выдержанная. Мнѣ уже прихо-

дилось указывать, что матеріалистическое міровоззрѣніе способно не меньше приводить въ восторгъ людей, чѣмъ всякое другое—пантеистическое, идеалистическое и т. д. Да если на то пошло, я снова признаюсь, что на мой вкусъ нѣтъ совсѣмъ плохихъ *an sich* идей: я до сихъ поръ способенъ съ удовольствіемъ слѣдить за развитіемъ идеи прогресса, съ фабриками, желѣзными дорогами, аэростатами и т. п. Но все же мнѣ кажется наивною надѣяться, что всѣ эти бездѣлушки (говорю объ идеяхъ) могутъ стать предметомъ серьезныхъ исканій для человѣка. Если возможна та отчаянная борьба человѣка съ міромъ и богами, о которой повѣствуютъ легенда и исторія—вспомните хотя бы Прометей—то, разумѣется, не изъ-за истины и не изъ-за идеи. Человѣкъ хочетъ быть сильнымъ, богатымъ и свободнымъ, человѣкъ хочетъ быть царемъ въ мірѣ—вотъ этотъ жалкій, ничтожный, созданный изъ праха человѣкъ, котораго на вашихъ глазахъ, какъ червяка губить первый случайный толчокъ—и, если онъ говоритъ объ идеяхъ, то лишь потому, что отчаялся въ успѣхѣ своей настоящей задачи. Онъ чувствуетъ себя червякомъ, боится, что снова придется обратиться въ прахъ, изъ котораго онъ созданъ, и лжетъ, притворяясь, что его убожество ему не страшно—только бы узнать истину. Простимъ ему его ложь,

ибо только устами онъ произносить ее. Пусть говорить что хочетъ и какъ хочетъ. Пока въ его словахъ мы слышимъ знакомые звуки призыва къ борьбѣ, пока въ глазахъ его горитъ огонь непреклонной, отчаянной рѣшимости—мы поймемъ его. Мы привыкли разбирать іероглифы. Но если онъ, какъ современные нѣмцы, приметъ истину и норму за послѣднюю цѣль человѣческихъ стремленій—мы тоже будемъ знать, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло, хотя бы судьба дала ему краснорѣчіе Цицерона. Лучше полное одиночество, чѣмъ общеніе съ такими людьми. А впрочемъ, такого рода общеніе не исключаетъ полного одиночества и даже, можетъ быть, облегчаетъ трудную задачу.

XI.

Я и ты. Очень распространенное выраженіе—«заглянуть въ чужую душу», на первый взглядъ въ силу привычки кажущееся чрезвычайно понятнымъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается до того непонятнымъ, что возникаетъ вопросъ—да имѣетъ ли оно вообще какой-нибудь смыслъ? Попытайтесь мысленно наклониться надъ чужой душой—вы ничего не увидите, кромѣ пустоты, огромной, черной бездны, и въ резуль-

татѣ лишь испытаете головокруженіе. Такъ что, собственно говоря, выраженіе «заглянуть въ чужую душу» — только неудачная метафора. Все, что мы можемъ—это по имѣющимся внѣшнимъ даннымъ заключить къ внутреннимъ переживаніямъ. Отъ слезъ мы заключаемъ къ страда-ніямъ, отъ блѣдности—къ испугу, отъ улыбки — къ радости и т. д. Но развѣ это значитъ заглянуть въ чужую душу? Это значитъ только дать въ собственной головѣ мѣсто ряду чисто логическихъ процессовъ. Чужая же душа попрежнему остается невидимкой, о которой только догадываешься, можетъ быть правильно, а можетъ быть и ошибочно. Такое заключеніе вызываетъ въ насъ естественное раздраженіе: что это за подлый міръ, въ которомъ нѣтъ возможности увидѣть какъ разъ то, что болѣе всего нужно видѣть. Но для думающаго, ищущаго человѣка раздраженіе—почти нормальное душевное состояніе. Каждый разъ, когда для него особенно важно удостовѣриться въ чемъ-либо—онъ, послѣ ряда отчаянныхъ попытокъ, убѣждается, что его любознательность не можетъ быть удовлетворена. На этотъ разъ насмѣшливый разумъ присоединяетъ еще новый вопросъ: чего искать чужой души, когда ты и собственной никогда въ глаза не видѣлъ? Да и существуетъ ли душа? Вѣдь вотъ многіе люди вѣрили, и до сихъ поръ вѣ-

рять, что души совѣмъ и нѣтъ и что только существуетъ наука о душѣ, называемая психологіей. Психологія, какъ извѣстно, о душѣ ничего не говоритъ, считая, что ея задача ограничивается только изученіемъ душевныхъ состояній, которыя, кстати сказать, тоже совѣмъ еще не изучены... Какой отсюда выходъ? Можно на насмѣшку отвѣтить насмѣшкой же или бранью. Можно отнять у психологіи право называться наукой и назвать, какъ это часто дѣлаютъ, матеріалистовъ идіотами. Гнѣвъ имѣетъ, безспорно, свои права. Но все это хорошо и имѣетъ смыслъ, пока ты на людяхъ и тебя слушаютъ. Негодовать же наединѣ съ собой, когда даже не считаешь использовать негодованіе для литературныхъ цѣлей (вѣдь даже писатель не всегда пишетъ и нерѣдко озабоченъ менѣе преходящими мыслями, чѣмъ предстоящая книга) — такъ негодовать никому не охота. Предпочитаешь въ тысячу первый разъ со всѣми возможными предосторожностями приблизиться къ заколдованному мѣсту. Авось чужая душа только при приближеніи посторонняго человѣка обращается въ невидимку и, если застать ее врасплохъ, она не успѣетъ исчезнуть. И, стало быть, тяжеловѣсная психологія, всегда, какъ и всякая наука, прежде, чѣмъ что бы то ни было предпринять, возвѣщающая во всеуслышаніе о своихъ планахъ и

способахъ ихъ осуществленія, менѣе всего годится для поймки такой легковѣсной и подвижной субстанціи, какъ человѣческая душа. Оставимъ для психологіи почетное названіе науки, будемъ даже уважать матеріалистовъ, а душу попытаемся выслѣдить иными приѣмами. Пожалуй, что въ глубинѣ темной бездны, о которой говорено раньше, можно кое-что разглядѣть—только головокруженіе мѣшаетъ. Такъ что нужно не столько новые приѣмы выдумывать, сколько приучать себя безъ страха глядѣть въ глубину, всегда представляющуюся непривычному взору бездонной. Да, наконецъ, и бездонность вѣдь далеко не навѣрное совсѣмъ ни на что не годится человѣку. Намъ съ дѣтства вбили въ головы, что человѣческій разумъ можетъ справиться только съ ограниченностью. Но изъ этого только слѣдуетъ, что у насъ есть лишній предразсудокъ, отъ котораго нужно постараться избавиться. Если придется пожертвовать правомъ бранить матеріалистовъ и поучаться у психологіи, да еще чѣмъ-нибудь въ придачу—что-жъ? вѣдь намъ не привыкать стать! Зато, того и гляди увидимъ, наконецъ, загадочное «ты», да пожалуй еще къ тому и я перестанетъ быть проблематическимъ. Терпѣніе—противнѣйшая вещь, но вспомните факировъ и другихъ мудрецовъ того же порядка. Только терпѣніемъ и берутъ. И вѣдь, повиди-

мому, кое-чего добиваются. Не общеобязательных истинъ—я за это почти готовъ ручаться. Общеобязательныя истины уже давно всѣмъ оскомиனு набили. Я, по крайней мѣрѣ, не могу равнодушно слышать о нихъ. Даже просто «истина» ничего не говоритъ моему уху. Нужно найти способъ вырваться изъ власти всякаго рода истинъ. Въ эту сторону и гнули факиры. Они не могутъ представить доказательствъ своей правоты, ибо видимая побѣда никогда не бывала на ихъ сторонѣ. Побѣждаютъ штыками, пушками, микроскопами, логическими доводами. Но микроскопы и логика вѣнчаютъ ограниченность. И еще: ограниченность часто укрѣпляетъ, но бываетъ и такъ, что убиваетъ.



ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

<i>Стр.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Должно быть:</i>
35	5 сн.	говорилъ	наговорилъ
121	12 св.	обращается	обращаешься
132	9 сн.	странная	страшная
142	10 »	дѣйствительности,	дѣйствительности.
166	11 св.	удастся	удается
167	8 сн.	а	и
168	13 »	стремится	стремился
171	12 св.	испытывалъ	испытывая
172	8 »	свои,	свои:

VIII 14790